

Ирина Сабурова

СЧАСТЛИВОЕ ЗЕРКАЛО

Ирина Сабурова

СЧАСТЛИВОЕ ЗЕРКАЛО

МЮНХЕН 1966

СЧАСТЛИВОЕ ЗЕРКАЛО

Начать можно с любой точки: вот, темнозеленый канал, вдали мостик. Совсем медленно, чуть касаясь воды, плывет сухой кленовый лист. Оранжевые прутья каких то кустов с редкими зацепившимися листьями, мшистый ствол почерневшего дерева: ветки согнулись под серыми облаками, но не от тяжести, а как будто затонули в серой обволакивающей дымке. Чуть моросит, больше в самом парке, с сучьев стекает изморозь. Город подалее, в нем уже выметенная, поздняя осень, но Рождество не началось еще, не стоит еще на пороге улыбающаяся праздничная елка. Здесь — не город в сущности: благородная охра прошлого столетия, дома с белыми колоннами, выступы террас, балконы с балюстрадами, мезонины: особняки с заборами в кованных решетках, голубые ели и закутанные на зиму розы в садах. Улочки сужены от придвинувшегося, надвигающегося города. Но здесь парк, и у некоторых особняков даже каменные конюшни: когда то до центра города ездили в каретах. Теперь в конюшнях стоят автомобили, переменялись и многие владельцы, вероятно, но с тем же завистливым снисхождением, с каким смотрели на них раньше жители казарменных домов, смотрят на них теперь обитатели зеркальностенных коробок с электрическими лифтами для мусора, тонкими стенками и стандартной мебелью.

Это — прошлое города. Славное прошлое, остатки. Пока они еще не мешают, может быть, даже привлекают туристов. Их хранят. В конце концов, это живые дома, они живут, и в них живут еще. Кое где в особняках устроены частные клиники. Больным надо тишину, больные люди думают иногда совсем о другом, чем в автомобиле на улице, они доступнее пониманию мягкой неторопливости вещей, спокойному достоинству лестниц, пролетов лужаек в деревьях. И может быть, плывущий по каналу сухой лист... или такой же, кружащийся под серым небом над закутанной клумбой, вызовет у них иные мысли, чем

в жизни, заполненной такими важными, неотложными, мелькающими вперегонки делами.

Мысль, как линию, можно продолжить из точки назад и вперед. Провести через точку можно только одну, но она имеет два конца? Пусть один будет началом, каким то «наш герой родился в...», того пути, которым он шел, день за днем, к берегу этого канала, вот к охряному дому с колоннами, с полукруглым выступом террасы над каменной кладкой. Может быть, он родился в таком, похожем, или совсем непохожем на этот? Все равно, не видно его дома в далеком «в». Слепые двери закрывают теперь другие люди, а может быть и дверей не осталось, или ключ в них поворачивается по иному (иногда ведь и ключ говорит многое), и в окнах нет прежней тени, это уж наверняка, а следов не осталось ни на дорогах, ни у кого, нигде. Разве в какой нибудь папке с бумагами, штемпелями, подписями никому неизвестных больше людей — как и он сам. Это линия назад, которой не бывает в геометрии, хотя учебник и начинается словами: «представим себе». Но вообразить себе жизнь можно и без ученья, всякий легко вспоминает свой пройденный путь, начать же представлять его можно с любой точки: опять таки, скажем, канал, осенний день, упавший лист, старый особняк. Представление или воспоминание? Анализ или синтез? Лучше и то, и другое, потому что у второго конца, у линии вперед воспоминания не может быть вообще, а представление приблизительно. Кажется, что путь пойдет, должен пойти — как хочется. Когда же линия дойдет до конца, замыкаясь с началом в круг, оказывается, что... оказалось иначе.

Но это уже явление другого порядка, не нашей власти. У нас есть прошлое. И, о, у нас есть настоящее! Прошлое нерушимо. Прошлое — и вот этот чужой красивый особняк, и то, что человек знает только сам, и то, — нет, нет, только не забудьте пожалуйста, — то, с чем он пришел к берегу осеннего паркового канала с тяжелой зеленой водой. Это очень важно, может быть, самое главное, потому что ведь есть еще и сухой кленовый лист, плывущий по воде, почти не касаясь ее. Это настоящее. Тихая, поздняя осень, преддверие Рождества, сжатая в чешуйку почка, ждущая, чтобы раскрыться весной, корень, засыпающий в ожидании весеннего сока, теплое, пушистого снега там, наверху, проливающегося вкусной водой, когда ему захочется пить.

Ибо власть — в настоящем только. В облеченности прошлым, и в возможностях: ну, хотя бы выловить этот лист из воды и засушить его под стеклом, или бросить в него камешек, чтобы утонул, или проводить его мечтательным бесцельным взглядом. Все можно сделать. Бездумно или намеренно, преодолевая препятствия, или споткнувшись от толчка, если не удалось удержаться на ногах. Можно многое сделать с расчетом на завтраш-

ний день, на когданибудь потом, с надеждой или мечтой. Все можно, и вот очень важен путь, облакающий этой властью, двери, открывавшиеся или закрытые наглухо, анализ или синтез. То, что изучалось, — или не замечалось вовсе, то, что отсеялось, установилось, как главное. Нужно сказать еще, что после синтеза, увы, остается немного, потому что оказывается, что линия пройденного длиннее оставшейся.

Правда, зато отбрасывается и многое ненужное, мучающее других, не понявших отбора. Тех, кто анализирует до конца все, что ни попадет, так и не поняв, что и к чему, когда замыкается круг: и тех, кто думает, как дальний предок — повиснув на суку ногами вверх, не удерживая в голове двух параллельных мыслей по той простой причине, что не удерживается и одной.

Итак, важна точка, и ею может быть любая: — картинка осеннего парка или въезжающий в депо локомотив с шумно дышащими боками. Это зависит от установки и вкуса — и от прошлого тоже, но суть не меняется вовсе: разнятся люди и взгляды, а не суть.

Суть в ощущении жизни, в синтетическом восприятии ее, в том внезапном, всеобъемлющем ощущении, которое охватывает вдруг и очень остро, на любой точке пути, и если это аккорд, то в нем не одна, а десять октав, потому что все: воспоминание, чувство бытия и смерти, мечта и воспоминание, надежда и любовь, горечь и радость. Вся радуга, все тональности, вся жизнь. Может быть, даже будущее тоже — постигаемое вдруг ошеломленным, догадывающимся, испуганным сердцем. Результаты ведь часто печальны, неправда ли? Круги замыкаются постоянно, беспрерывно, неизбежно, и пропадают, как на воде, — которой касается вот этот сухой кленовый лист. И он все еще плывет, не прошло и минуты с начала, а если в этой минуте уложилось все, начала и концы, и яснее, чем можно выразить словами — что ж: это человеческая искра, выбивающаяся из кремня. Из губки ее не выбьешь.

Но, поскольку точка взята у канала, в парке, у особняка... поговорим о доме вообще. Подъезд закрыт, конечно. Сколько в нем комнат? Почти два этажа, с мезонином. Почти, потому что дом спускается по пригорку к каналу: у него большой выступ в сад, на нем терраса и каменные шары на баллюстраде. Колонны подъезда прочно стоят на ступенях. Дом для большой семьи. Строил его дед, тогда город был дальше, а здесь тихо, почти дача: городской патриций, может быть, крупный чиновник, купец, вроде героев Будденброков Томаса Манна, или еще лучше «Дебет и кредит» Густава Фрейтага, но с художественным укло-

ном, потому что барство в этом доме бесспорно есть. Не слишком роскошное барство, не то, что у единиц, а, скажем, даже у тысяч во всем городе, не все же непременно строят себе особняки. По социологии они относятся к высшему среднему слою, и та же социология показывает своей статистикой, между прочим, что из этого слоя выходит большинство писателей, ученых, государственных и иных деятелей. Людей, так или иначе выдающихся творческой мыслью над средним уровнем. Они и приучались мыслить, воспринимать окружающее, развивать вкус вот в таких домах. Конечно, бывают прорывы и из казарменных коробок, должны быть. Они отчаяннее и труднее, их заслуга больше, но оставим мировую справедливость, тем более, что она давно оставила нас. Дело не в социологии: дело в наследстве, в обстановке, облеченности властью прошлого, сохранившей гаммы красок, паркетный скрип, библиотечные тома, и спокойное, нужное, глубокое течение жизни, как величавая вода этого канала... по которой все еще — все еще! — плывет осенний листок. Обстановка общая всем есть повсюду. Жена американского адмирала, бывшего послом в Москве, приехала в Ясную Поляну и вдруг почувствовала родной воздух: старый кожаный диван, зеленая лампа на столе, окно в сад... Она очутилась дома, слышала сонату, спор о новой теории, стихи и шелест: колосьев, шелка, и книжных страниц.

Не будем теревить бытия, определяющего сознание. Но оно может помогать или вредить ему, неправда ли? Протокольные акты, бумага с параграфами законов пахнет пылью цифр, безнадёжностью страстей, и человеческими жизнями, легшими под полицейский штемпель: нужды нет, что в окно льется солнечный луч, у здорового чиновника румяные щеки, а секретарша повесила «зеленую бороду» над столом: пыль.

В щелканьи процентов солидно сверкающего стеклами, медью, никелем банка с вкрадчивым светом и приглушенным шелестом — безукоризненные проборы служащих, покрашенные от кончиков волос до кончиков ногтей на ногах яркие блондинки, тратящие половину жалованья на платье в надежде: хорошо выйти замуж одни, стать высоко квалифицированной силой — другие. Третьи быстро перестают надеяться вообще.

В пресловутых казарменных коробках, серых или кирпичных, но одинаково унылых, с запахом на лестнице, чахлой геранью на окошке, с выщербленными стенами, восковыми цветами в подаренной вазочке, со счетом каждого гроша, доскональнейшим обсуждением последней речи министра за дешевой кружкой в пивной, с наглой соседкой на лестнице, футбольным состл-

занием, воскресным жарким и пистолетной газетой вместо книги — в таких домах, повторим, прорывы возможны, и бывают, но редко, именно из-за этой обесцвеченности, стандартности, придавшей и отупившей серости.

О дворцах не стоит пожалуй и говорить: их было очень мало всегда, еще меньше теперь. Лучше о старой узловатой яблоне или пышно шумящей липе за навозной кучей разъехавшегося в стороны крестьянского двора с поветью, маленькими окошками выбеленной стены, запахом дерева, кур, зерна, горьким, пронзительным дымком картофельной ботвы на осенних полях, с голубыми сутробами и желтыми пятнышками одуванчиков и цыплят, яркими маками и дичающими астрами. Дом низок и крепок, нерушим и спокоен, у него низки потолочные балки и пороги, но над ним всегда высокое небо, дающее солнце и дождь, песни и пот, сияющее и над скрипом перегруженных колес, и над немудреным кладбищенским крестом — мечтой и мыслью.

Разные бывают дома, различны и люди, и жизнь, но общее, вечное от каменной пещеры до особняка, в деревне или городе: защита, свой угол, средоточие жизни, тишина, к которой должна прислушиваться душа. Должна, потому что без нее гибнет.

Только ли без этих, каких бы то ни было, четырех стен? В этом ли — бездомность, изгнание, потеря почвы, утрата корней? Да, говорят многие, и пускаются плыть по течению, бездумно и бесцельно, как упавший с дерева лист на тяжелой холодной воде. Но лист не может иначе, он зависит от ветра, когда он исполнил свое назначение и умер к зиме. Человек зависит только от своей души. Дом — это чувство, свойство, стремление утвердить себя, оглянуться — услышать тишину, согреть — и свое, и чужое сердце. И при бездомности может быть дом, если есть чувство дома, если беспочвенность, покорность ветрам, постыдная скупость мысли не выветрили, высушили пылью сердце. Ну, а если пущено оно по ветру, пока не распадется пылью, и все равно, куда, все равно где — то и не заслужило другого.

А если уж никак нельзя обойтись без «измов», то материализм — это анализ, а консерватизм — синтез, и по одному подсчитывается стоимость и стремление к собственности, а по другому — все остальное: любовь и уважение, мечта и надежды, творчество и покой. С теми, кто считает, что стремления эти выдуманы нарочно — спорить не стоит: для сухих листьев весна не цветет, и может быть им действительно не видно, что вслед за их оторвавшимся стеблем высунулся кончик плотной почки? Осенние листья тоже по разному понимают осень.

Есть еще один изм, против которого очень трудно что либо возразить, потому что он не измышление, а сущность бытия:

символизм. Ибо и текущая вода, и покачивающийся на ней лист, слишком сухой, чтобы впитать в себя сразу сырость, и особняк с ампириными колоннами и охрянными стенами — да и весь парк, и даже улочки с площадями — символы же конечно, это все, скрытого и заключенного в них смысла. Только люди редко бывают символами: может быть поэтому они так часто не подозревают, что все вокруг них значит что-то — стоит только посмотреть, что.

Не стоит, однако, не только спорить, но и задерживаться дольше, чем нужно, на высоких понятиях и ученых словах: они редко помогали комунибудь в жизни найти ее смысл. Много-словие, как ученое, так и попросту глупое, свойственно старости и молодости одинаково, хотя и по разным причинам: молодежь перекипает через край в поисках смысла и ответов на вопросы; старики скрывают за ним то, чего не нашли. То же, что действительно найдено — и смолоду, и в зрелости, — выражается обычно совсем простыми формулами.

К сожалению, мыслить формулами еще труднее, почти невозможно. Мысли всегда многословны, беспорядочны, кувыркаются, как стекляшки калейдоскопа; отсюда цветистость сочетаний, разрезанных на углы зрения отточенными призмами чегонибудь, вроде логики, скажем.

Логика и уж совсем не так замечательна, и совершенно не обязательна, потому что в жизни ее не бывает. Но по ней ли, или по существу требуется указать, что все вышесказанное — беспорядочные мысли о двух людях на берегу канала в парке, следящих от нечего делать за тем, как медленно-медленно движется на воде в легкой туманной дымке осенний лист. Может быть, отчасти и их собственные. Мысли, и даже одинаковые, свойственны многим. Двух же людей совершенно достаточно для драмы, без которой не обойтись, если говорить о жизни.

Как они встретились? Сейчас — не на берегу канала, а сперва в охряном особняке с колоннами и покрытым ковром лестницей. В нем теперь частная клиника: построившие дом Будденброки не выдержали мировых войн. В клинике лежит их общий знакомый: он тяжело болен, а они оба — и он, и она, очень любят его. О любви к нему и его болезни они говорили уже на лестнице, и когда закрыли тяжелую дверь под колоннами, говорить больше было не о чем. Остановка городского автобуса к центру — тут же, у канала, и приходится ждать. Только и всего.

То-есть, это было бы все, если не сказка. Сказка всегда неожиданна, не требует подготовки, и не терпит уговоров. Как все элементы, из которых состоит человеческая жизнь, она никак не поддается определению словами: мечта или душевное здоровье,

тоска или вера в Бога, счастье или прорыв в четвертое измерение? Сказка может быть всем этим и чем угодно еще, потому что она — редкий элемент, который вносится самим человеком в свою жизнь, и дается ему не природой, а Небом.

Не отмахивайтесь, пожалуйста. Почему можно проповедывать или защищать какие угодно измы, а сказку — нет? Тысячи лет тому назад проповедывались другие, и от них не осталось ничего, а вот сказки тех времен живы и поньше. Символизм не литературное течение, а символы окружающего. Презрительное ограничение ее детскими книжками, выбрасывание на задворки детства, — это пренебрежение к извечным формулам человеческой души — к своей, прежде всего. Но пренебрежение, болезнь века, принимается как должное, и больные даже хвастаются ею. Именно по той логике, которой, к сожалению, не существует...

* * *

— Голос отдельного человека часто не расслышишь, особенно в атональной какофонии, — сказала она вдруг, не поворачивая головы и не поднимая голоса, а просто мысля дальше и вслух — но если уж необходимо подпереться авторитетом, то пожалуйста: Лев Толстой. Это он сказал, что гибли культуры и цивилизации, гибли народы и государства, а сказки переживают тысячелетия. В авторитете Толстого никто не сомневается, но именно это его изречение стыдливо замалчивается. Конечно, не ново и не интересно. Как будто все новое интересно и правильно!

— Воплощение сказочной мечты о ковре самолете в наше время, например, для тебя тоже ничего не значит? — лениво возразил он, наблюдая краешком глаза за углом. Оттуда, из под чуть покосившегося столба садовой ограды, должен был показаться автобус.

— Все, что не начинается со слова «модерн» для тебя уже не идеал, конечно. Скульптура без формы, поэзия без музыки, музыка без гармонии и жизнь без смысла! «Модерн!» Мечта, воплощенная в кнопке и рычаге реактивного самолета! Если бы это было так, то не стоило бы ей переживать тысячелетия. Но вот сказки живут и существуют, во всем, и одни их видят еще, слава Богу, а такие, как ты...

Она отвела взгляд от почти неподвижной воды, посмотрела на него в упор: отметила и осеннюю серость лица, и скользкую увертливость хронически пьющего человека, и когда то так поразившую нервность руки с зажатой в ней перчаткой — пальцев,

привыкших прислушиваться к смычку. Еще не дрожит, но... долго ли? Как всегда, мелькнуло легкое — сожаление ли? отблеск мечты в том, так внезапно розовом небе, порозовевший — отраженный свет прошлого. Улыбнулась словам, оставшимся в памяти.

От легкого, незаметного ветра кленовый лист на воде замаяхал вдруг выгнутым острым краем, и поплыл неожиданно быстро, уплывая все дальше, поспешно, как будто опомнившись, погнался за чем то важным, неотложно нужным — хотя вода, казалась, продолжала почти не двигаться, застывая стеклом.

Она улыбнулась теперь совсем открыто, поймав его взгляд, брошенный на лист.

— Вспомнилась... сказка. Так ведь и не знаю конца. А зеркальце — счастливое зеркало, помнишь? — до сих пор сохранилось, представь себе. Тогда положила в чемодан, отправленный тетке на хранение, и помирилась уже с потерей. Рядом с ее домом все сторело, а она умерла, и я ничего не знала. Недавно получаю письмо — незнакомая подпись какого то др. юр. Он разбирал по долгу службы наследство, обнаружил мой чемодан, обратился в службу розысков Красного Креста, те разыскали. Когда узнали, что я — родственница, пришлось поехать. Тетка по мужу, оплакивать я ее не могу, еле знала, но тяжело, знаешь, разбирать в таком случае чужие вещи. Холодный неуютный сарай, куда свозят — такое странное слово: выморочное имущество... Ну, раз все равно, так взяла кое что: хороший еще ковер, рукодельный столик с резьбой — она, как балтийская немка, уехала во-время, и все увезла, не то, что мы... и мой чемодан, конечно. Как раскрыла его, так сразу развеселилась: поверх всего военное сокровище: фунт махорки, зверобой настоящий! Сохраню, как память. А ларчик этот с зеркалом вынула, но так и не раскрывала, поставила на полку. Сама не знаю, почему не решаюсь, только на полировку посматриваю: густой цвет, драгоценное красное дерево... должен наступить какой то срок, тогда открою и — узнаю свое счастье.

Она говорила быстро, чтобы не продолжать первой мысли, не впасть в излишнюю сентиментальность, немножко все таки смешную после стольких лет, хотя он сразу же, при первых словах склонил голову на бок, и обволок ее полагающимся в таких случаях глубоким, любующимся, восторженно-благодарным взглядом — совсем, как тогда, как раньше. Впрочем, может быть и искренне — кто знает?

— О нет, я не забыл... сказку... о зеркале. Но как же узнать конец?

Ну конечно, что же он мог еще сказать? Мягкая благодарность — хотя бы за прошлое, и еще больше, пожалуй, за ее сдержанность и верность дружбы в настоящем. Если ничего не стоит сделать другому удовольствие, то нетрудно вздохнуть с улыбкой и вздохом сожаления, что вот мол, вышло так, а могло бы иначе... Ничего не стоит, и длится минуту, а автобус должен появиться вот-вот, и после посещения больничной палаты его неудержимо тянуло в знакомый угол ресторана, с синим дымом и дымным окном за спиной, с рогами вешалки, стуком тарелок, с запахом винного погреба. Конечно, вечером опять надо на репетицию оркестра в студии, предупреждений за прогулы у него достаточно, а за место надо держаться как-никак, но... выпить все таки можно, неправда ли?

Автобус пришел и они поехали — рядом сперва, но каждый в свою сторону.

* * *

Конечно, раз я начала уже говорить об этих двух у канала, то я их знаю. Больше ее, чем его, но и этого уже достаточно. Видела даже их глазами то, о чем они рассказывали мне так откровенно, как можно чужому, но чем то близкому человеку.

Первая встреча с ней была в поезде. Конец сорок седьмого года — глухая, морозящая осень, сумрачное преддверие зимы. Сумрачное от нашей тоски тогда, смятения, страха и кочевья. На станциях маленьких городов и местечек, около которых были большие лагеря дипи, поезд собирал тяжело одетых, редко бритых и густо пахнувших махоркой и сыростью людей с деревянными ящиками: самодельные чемоданы из толстой фанеры. У некоторых были настоящие полушубки и валенки даже, почти на всех — меховые шапки, и все говорили по русски или украински.

Мы влезли, как тогда полагалось, с трудом, втиснулись в полное и без того купэ третьего класса — других вагонов не было вообще. В этом хоть не было разбитых стекол, как рядом, а от густого дыма казалось теплее. Поезд двинулся, часто останавливаясь посреди поля, полз, громыхая разъезженными колесами, шатаясь из стороны в сторону; стенки скрипели, вот-вот развалятся, и о скорости никто не думал. Когда нибудь приедем, одолеем шестьдесят километров до города.

— А вы, дядька, сидайте, — сказал вдруг мальчишка из угла, и пропустил сивоусого «дядька», вошедшего со мной. Сам он встал со мной рядом на его место, поставил ногу на край скамьи,

ловко свернул закрутку из махорки, и протянул мне на маленькой грязной ладони:

— Курите?

— Спасибо, вот не умею сворачивать стоя, — произнесла я, и с наслаждением закурила, присматриваясь к мальчишке, щелкнувшему самодельной зажигалкой.

На нем были толстые штаны, сшитые из одеяла, куртка из овчины и громадная теплая кепка, в которой тонули уши. Под козырком смуглело лицо, все в коричневатом тоне: кожа, тусклые темные брови, орехового цвета глаза и такие же, серовато-коричневые, упрямые, с веселым и горьким вызовом, тонкие губы.

Он быстро и откровенно оглядел меня, как будто примерил, классно сплюнул табачинки с губ, и кивнув в сторону моих спутников, заметил:

— Чего в город братву везете? Документы старым эмигрантам выправляете?

Я даже сморгнула от удивления — было то ведь действительно так: везла очередную партию своих «крестников» в самоотверженный Юрьевский комитет, который под сомнительные поручительства «выправлял» удостоверения в принадлежности к каким угодно странам эмигрантского рассеяния уроженцам и Москвы, и Харькова, и Кавказа.

— Не бойтесь — складочки у губ залегли еще упрямее и печальнее — не выдам. И не нуждаюсь. Я германская подданная, сама поручусь, при случае.

Очевидно, у меня было довольно глупое лицо, потому что «мальчишка» рассмеялась вдруг совсем по мальчишески и снова протянула ладонь.

— Вы мне нравитесь почему то. Давайте познакомимся. Тащиться долго, говорить веселее. Меня зовут фон Ратибор, Нина Бертрамовна.

Выражение мое вряд ли просветлело. Мы минуту смотрели друг на друга, потом расхохотались.

— А вас? Сабурова? Та самая — Ирина Сабурова? Да ну?! «В этом странном королевстве жили рыцари и маги, и на самой древней башне — старый, мудрый Звездочет...» ей Богу, вы? Ну, знаете... сядем, хоть на пол. Браток, прими чемодан. Вот так, да если бы вы знали только...

«Братва» была занята своими разговорами. Мы сидели, сжавшись на ящике, колотясь о стенку вагона в коридоре, в пыли, грязи, скрипе и грохоте. Она говорила.

— Мне себя трудно объяснить, да и кто поверит? Но вам могу. Вы к нам приедете. Или я. Да, у меня хорошая кобыла с телегой

есть. А вы за мальчишку приняли? Без штанов нельзя, в них спасенье, давно бы заболела, только Петр Михайлович мой ругается, но он уж такой, зубр прошлого столетия. Бертрамовна я всерьез, и сама с Печоры. Отец из русских шведов, был инженером на лесопильном заводе, еще в проклятое царское время, как говорится. Только девочкой удалось еще это время ухватить — вспомнишь, и в слезы. Я все больше в лесу, да на лошади, а мама Бетховена любила — дом большой, рояль чудесный. А чудеснее всего — папа. Ах, если бы такого отца всем в жизни! Все знал, обо всем заботился... даже своей смертью нам помочь умудрился. Убили его случайно, пулей на крыльце, когда вышел, в это время какая то продрозверстка шла, его еще не успели снять, понимаете, как специалиста. Ну, потом сняли бы конечно, но раз случилось не вовремя, будто бы виноваты оказались. Это нас и спасло. Мама просто ума решилась. Сидит, в одну точку смотрит, ни о чем, кроме как об отце, не говорит. А нам за это, за нечаянную смерть, постыдились все таки, оставили в покое, и комнатку у бывшего управляющего в доме дали, и мне гимназию кончить в соседнем городе. Потом учительницей там же стала, я немецкий язык с детства знаю, рижская немка гувернанткой была. Мама ни во что не вмешивалась, а каково мне? И учиться, и в очереди стоять, уроки давала, и боялась за все, маму всегда выгораживать надо, печки топить — ах, эти мерзлые, драгоценные поленья, все руки в ссадинах — и как радовалась, когда ухватишь, везешь на самодельных санках, вроде как теперь, только там на севере, зима не здешней чета, тепло — главное в жизни... Голодали, конечно, но выжили. Мама умерла потом от тифа, вот и осталась одна. Знаете, трудно одной. Мечтала — кто ж не мечтает? Я старалась дальше учиться, книги читала, старые все перечла. Пришлось замуж выйти. Коля не то чтобы плохой, но полуинтеллигентный, из мастеровых, а это хуже нет, и член партии с восемнадцатого, большевик настоящий. От чистки спасло потом, что место небольшое, в глуши. Представляете себе, что значит жить с человеком, когда ничего, что думаешь, сказать нельзя? А что было делать? Рук много, все жеребцы тянутся, лапают. Он меня сперва перевоспитывать собирался, потом только рукой махнул, чтоб помалкивала и не мешала. А у меня мечта появилась, не смейтесь. Неподалеку порт новый строили — на костях, конечно, заключенных согнали. Построят, думаю, придут пароходы — и я убегу. Да, за границу. Адрес моей немочки, гувернантки, как Отче Наш наизусть знала. Все таки она папе какой то троюродной племянницей доводилась. Уйду, думаю, проберусь к ней. Пусть вам смешно, но я с этой мечтой не один год прожила, и что же? Разыскала ее потом, все таки.

— Только иначе вышло. Когда в сороковом забрали Прибалтику, туда только надежных пускали, запретная зона. Но Коля то мой партеец старый, и специалист: назначили туда на завод. С какими чувствами я ехала! Что я почувствовала, когда европейский город увидела! Вы все говорили, что у вас ничего больше нет, и улыбаться разучились... с нашими разучишься, а все таки эта свобода у вас только вчера еще была, я вашим вчерашним воздухом дышала — как в сказке, ходила все, смотрела, руками трогала! Да не только там ночные рубашки атласные, что некоторые себе, по простоте душевной, на платья бальные покупали. Что ж, тут ничего стыдного нет. Мы таких не видали, я с детства, а другие и вовсе нет. Да и вы подшучивали не со зла, я ведь понимаю. Но Боже мой, ведь это было прежней Россией и Европой, все вместе, чудом сохранилось и все новое, крестьяне на хуторах, старинные имения сокращены, но нетронуты, кого ни возьми — усадьбы свои... вы же не понимали этого, наверное, а ведь вы жили уже в нашем будущем, это вот ваше двадцатилетнее прошлое — у нас только в будущем, и так далеко еще, что нам не увидеть, а вы уже знаете, и вот и мне хоть кусочек, хоть во время оккупации, достался! Помню, пошла на почту: маленький почтамт, крохотное местечко, а в доме двери стеклянные, с такими красивыми стеклами. Не удержалась — погладила, и женщине, что входила, невольно говорю: «У вас всегда так — повсюду красивое?» А она отвечает, по русски же: я только потом удивилась, когда поняла, что у вас почти все по русски говорили, тоже сказочно: заграница — и по русски говорят, ну разве не чудо? «Конечно, отвечает, а как же иначе? Так и должно быть». Ах, наивная моя, счастливая незнакомка! Попробуй, поживи по нашему...

— Когда объявили войну, у меня сердце сперва упало. Конеч, думаю, и сразу же мечта, прежняя: нет, я не вернусь: Я нет, дудки! Пусть немцы. Что же тут такого? И в прошлую войну они в Киеве были, а потом ушли. Гитлер, нацисты, садисты... я чекистов видела, и все рассказы о Гитлере, по правде сказать, считала такой же пропагандой, как и акул Уол стрита и царских опричников. Но... Коля? Три дня боролась. Все таки, столько лет, худо ли, хорошо ли, вместе прожили... мозги, правда перевернуты, но прояснятся же когданибудь... Но вот, к концу четвертого дня — да вся то война в Балтике продолжалась неделю — прибегает Коля, взволнованный. Собирайся сейчас же, говорит, захихивай в чемодан на скорую руку все барахло, что накупила и — ходу! Поезд отходит, все семьи наших грузятся, с трудом место достал, на панику смахивает... пошла чемоданы укладывать, а руки деревянные, и в голове стучит: бѣжать, бѣ-

жать. Только не обратно к проклятым, а вперед бежать. Колю подводить не хочется. Но, думаю, кто теперь разберет в суматохе? Погибла по дороге, и все. Говорю ему: забирай чемодан и дуй. А мне непременно тут по соседству надо, я мигом. Вышла на улицу и пошла. Пальто на мне приличное — в Риге покупала, сумка в руках и ничего больше. И так мне весело стало, будто гора с плеч свалилась, и вся жизнь отошла: весело и пусто, и страшно немножко... ну, всего не расскажешь. Из городка выбралась, трое суток по полям, лесам плутала, лето было жаркое, в лесу и переспала. А к людям боюсь подходить: вдруг от них тоже прятаться надо? Наконец наткнулась на имение, и около решетки ворот так и застыла: какая же красота, музейная! Руэнталь имение называлось, «Тихая долина», и впрямь. Ворота закрыты, я перелезла через забор, брожу — никого нет. А конюшни из мрамора, ей Богу, и статуи в парке... Сюда наверно экскурсии возили. До того хорошо было, что про голод забыла. И вдруг слышу шаги — идет старичек. В кепке, брови лохматые, а лицо породистое, суровое, одет просто. Есть уж больно хотелось, и устала я тоже. Все равно, думаю — если умирать придется — так в красоте такой — легче, чем в подвале. Подошла и спрашиваю в упор: пришли немцы? пришли немцы? Вот это и был мой Петр Михайлович, русский балтиец. Прямо и наткнулась на него...

Мы давно уже приехали в Мюнхен, обивали вместе пороги в каких то унровских учреждениях, сидели в холодных коридорах, ели невиданный обед по каким то записочкам, ручались за два десятка незнакомых людей в Юрьевском комитете, пытались что то продать, купить, обменять, и наконец вернулись под вечер домой в том же нетопленном, забитом людьми и пылью, громающем поезде. А она все продолжала говорить, срываясь, перескакивая, тускло поблескивая ореховыми глазами, отрывисто и сурово: озорной, измученный мальчишка.

— Так приедете ко мне? — строго спросила, выходя из поезда раньше меня.

— Приеду... Печорская амазонка!

* * *

Прозвище так за нею и осталось. Петр Михайлович тоже был им доволен, и сдержанно улыбался в усы: они у него были, как у польских магнатов — гордые, холеные, и так же береглись, как рубашка голландского полотна и гусарский ментик на соболях. И то, и другое торжественно надевал по праздникам и садился в позу. Поза продолжалась недолго, потому что сидеть ему было

трудно. Больше лежал, подоткнутый подушками — мучился сердцем, и лицо безнадежно желтело под грустной пушистой седной.

В ментике было все прошлое, а в прошлом сосредотачивалась вся жизнь и ее смысл. В настоящем он отказывался его видеть и был озабочен только одним: соблюсти, по возможности, приличия и с честью умереть. Не кланяться никому: не унижаться; не просить у соседей, не сердиться на чепуху, которую несут идиоты (хотя не выдерживал и возмущался все таки); если бы дали ему в свое время одну дивизию, чтобы разнести эту сволочь, ничего бы не было; но осколкам прошлого теперь делать нечего, и надо поскорей умирать. Обо всем этом он говорил каждый день: по старчески брюзгливо, по аристократически брезгливо, но не без юмора. Отношение к «Печорской амазонке» у него тоже было смешанным. Он ее сильно любил, бессильной любовью, но в тоне часто слышалась горечь, угроза, упрек.

— Одну мою бабушку — не грузинку, а Потоцкую, тоже Ниной звали — рассказывал он, привычно и с трудом переводя дыхание. Седая голова чуть тряслась в подушках. — Нина, не тащи такого тяжелого ведра. Сколько раз тебе говорил: надорвешься, нижний этаж себе повредишь, сляжешь. Подожди вот, я встану, и тогда придумаю, как коромысло сделать. Да нет, не вскакивайте вы, вы гостя. Нина сама виновата, она системы не любит, а я привык к одинокой жизни, и хоть полуинвалид, знаете ли, но у меня разные системы в усадьбе устроены были, и на конюшне, в курятнике тоже... Я бы и сейчас...

— А я бессистемно, зато поскорей.

Нина Бертрамовна осторожно ставит ведро на приступочку около подмазанной глиной маленькой плитки-печурки, и наливает чайник. Против кровати Петра Михайловича — раскладная походная койка, она же диван: на ней спит Нина и сидят гости. Между кроватью и койкой — окно, стол, а подальше к двери — шкаф, табуретка, стул и печка. Только и всего в комнате, но с одной стороны стена задрапирована хорошим старым ковром, а с другой — гобеленом, и на окне не кухонные немецкие занавесочки, а сложенная пополам, чуть продравшаяся, но кружевная штора.

— Это все Нина Бертрамовна, объясняет он. — Я честно признаюсь: уложил свою рубашку и ментик в чемоданчик, и в саквояж — мешочек с горохом. Горох, знаете ли, можно просто так жевать, если человек голоден, он очень полезен, поддерживает жизнь. Конечно, может быть и не стоило поддерживать, но все таки ей же пригодился бы. Так ведь нет: сперва скандал подняла, а потом, тайком от меня выкинула таки горох, а в сак-

вояж тряпок натолкала: коверчик вот этот, gobелен, он еще у бабушки, у Потоцкой, в будуаре висел. Gobелен я еще понимаю, но кружева то на кой ляд? Честное слово, знал бы — не понес. Когда приходится бежать, тогда, поверьте мне, важнее жизнь сохранить, чем тряпки и всякие сувениры, и горох неизмеримо важнее. Мы бы вот его и сейчас еще поели!

— Ты у меня кажется, не так уж голодаешь, а самому небось приятно смотреть не на карточки с оленями, а на маркиз. Как можно бросать такие вещи, в которых традиция рода!

— Слышите? У меня научилась. Бер-тра-мов-на. Недаром, значит, такое отчество носит. Да и фамилия ее девичья хороша. Свенхольмы при Карле Двенадцатом, по моему...

— Петр Михайлович! Ты с писательницей разговариваешь, а не с дядьком, она историю знает!

— Я ж ничего не говорю, Нинушка. Говорю, что Бертрамовна ты. А в таком имени, знаешь, трубадурское этакое слышится, шелк, перья, пена морей, паруса над морем, песня на люгте, и цит, рассеченный розой... или наоборот. Это, знаешь ли, песня истории, ее аромат, легенда... красивое имя, и дается оно недаром, видно. Вот по тебе видно тоже. А знаете, как я ее встретил? «Дяденька, говорит, дай хлеба». Честное слово, так и сказала, губы дрожат, сама шатается, и я на ногах сам еле держусь. Я неделю в замковом погребе прятался, когда большевики облаву по всей Прибалтике устроили. До того в первую репатриацию с немцами не уехал, потому — какой же я немец? Ну хорошо, дворянский род, но во-первых из Силезии, а во-вторых — в имперскую Германию это еще куда бы ни шло, хотя я русскому царю присягал, а чужому не буду, но чтобы фельдфебелю, маляршке присягать, который себя гением возомнил — ну нет! Дудки, сказал поп Анютке, сперва банку съешь, а потом варенье! Нет, я остался. Я твердо надеялся на Скандинавский союз с Прибалтикой и нейтралитет, потому всегда следил за политической, хотя признаться, как посмотришь, что кругом делается, так только сердце болит. После Белой армии я себе образцовое куроводство на случай жизни устроил. Небольшое, но даже медали за кур получал, красавицы были. Мирдза варила для меня и кур, а Дуняшка на огороде развертывалась, и Матвей на моей лошади, что для себя часто брал, распаживал под ячмень, что там надо было. А потом я наварю пива, это я тоже, доложу вам, отменно умею делать, и для больших полевых работ и уборок толоку соседей соберу. Хуторок у меня был небольшой, всего шесть гектаров, бывшая мыза роскошного имения, Руэнталь у нас достопримечательность. Сюда бы такой, так туристов водили бы и деньги брали, а у нас стал в запустение приходиться. Какой

дворец, а конюшни...! Не все люди так жить мечтают, какими их прежние хозяева строили...

Вот такой была их встреча. О продолжении мне рассказывала сама Печорская амазонка — в конюшне, где вместе с курами стояла в сарайчике славная гнедая кобыла из так называемых «крестьянских рысаков». Русские крестьяне в Латгалии — латышской провинции — держали много этих, большей частью, полукровных орловцев, с которыми устраивались ежегодно «крестьянские бега». У нас поощрялось коневодство, несмотря на машины.

Все статьи этой кобылы и особенности кур я рассматривала под каскад монолога Печорской амазонки:

— Как расскажешь? Камни сыпались со всех сторон с неба, и каждый сбивал с ног по своему. Петр Михайлович привел к себе, накормил, уложил. Потом я первым долгом за тряпку и щетку схватилась. Милый деревенский домик, половички на полу, старинная мебель, только Петр Михайлович, по своей «системе» просто клал повсюду газеты, и как запачкается — верхний лист оторвет и в печку. Две его работницы при товарищах разбежались, одна пропала вообще, а когда другая явилась, то он сказал, что теперь у него я, дальняя родственница приехала. Советский мой паспорт он сразу собственноручно сжег, а у меня еще чудом метрика сохранилась, с девичьей фамилией, так что вроде по балтийски выходило, пришлось только придумать откуда: сказали, из Литвы, чтобы латыши не поняли, и немцы не разобрались, да тогда уже все перемешалось... Немцы: Когда я узнала, что они с евреями, да нашими пленными делают — так руки и опустились. Ушла от чекистов — к гестаповцам попала! Петр Михайлович сперва их всех оправдывать пытался, потом замолчал, а еще потом принялся утешать: при такой политике, мол, они войну проиграют, а нам тогда союзники помогут. Что же делать? Верила. Не назад же? И одних ненавижу, и других, но немцы хоть в душу с сапогами не лезли, не заставляли на собрания таскаться с восторгом. Плохо у вас уже стало, но все таки — человеческая жизнь. Да, я, с родины бежавши, домой наконец попала! Вот тогда ваши сказки впервые прочитала, и помимо всего, подумала: может же человек говорить о том, что любит, что свет есть — и я могу, значит! Да и не было много времени решать то, все само собою разворачивалось. Началось советское наступление, я говорю Петру Михайловичу: бежим! Сперва хотели на поезд попасть, на пароход, а тут прорыв на фронте, почти что отрезаны. Вот я и схватила гобелен, а Петр Михайлович горох свой несчастный, запрягли мы нашу Машку, и поехали, кур на дорогу прихвативши. Когда

ночью, когда днем ехали, овес для Машки на серебряные ложки выменивала... через всю Литву, Польшу, Силезию, Чехословахию... навидалась, скажу вам! И у Машки запали бока, и Петр Михайлович мой от тряски, а больше от тревоги, расклеился совсем — но добрались таки в спокойное место. Когда мол кончатся, тогда и видно будет.

— ... Конечно, везла нас не только Машка, а я по сути дела. Одному Петру Михайловичу не добраться бы. Но уговор: чтобы ни случилось, я с ним в огонь и воду. А он решил жениться. Будет, говорит, приличная фамилия, принадлежность, так сказать, а не неприкаянность беглая.

— ... Пожалуйста, поймите меня только правильно! Захотела устроиться? Нет, поверьте, мне дали какое то удостоверение, что я из Прибалтики бежала, немцы всегда к балтийцам хорошо относились, значит рекомендация, шведская фамилия тоже помогает, язык знаю хорошо, а в такой неразберихе кто же станет копаться... Да и какое устройство, вы ведь Петра Михайловича видели. Завернуть его в шелковый халат с кисточками, и посадить под стекло, а по праздникам пыль смахивать и любоваться, как севром. Ни защитить, ни помочь он ничем не может, скорее всего скажу — прямо обуза. К тому же, хоть и я не совсем уж молоденькая, но он то старик. Какая тут любовь... а вот привязалась. Разоирайтесь сами, раз вы писательница. Писали же о старом короле, как он кутает плечи в голубой горностаи и грезит, и не может проснуться, нет сил протянуть руку и удержать настоящее, я запомнила хорошо. А он и протягивать не хочет, просто отворачивается от этой жизни. Дома, на своей мызе, был просто счастлив: ходил за лошадьку, пестовал своих наседок, легхорнов так подсинивал даже, ей Богу, сам признавался... Было несколько соседей, с кем вспомнить ментики и полки, а с переменной декорации он как то удивительно широко мирился: был бы кусок мяса в супе, приличные табак, чистая постель, теплый угол. Больше никаких требований: все равно, мол, прошлому не бывать, но я его пережил, и слава Богу, есть что вспомнить. Меня жалел, что на мою долю мало пришлось, девочки еще совсем была, да и мои родители никогда такими богатыми людьми, как он, не были.

— ... Выходить замуж! Но ведь я вроде мужняя жена. Погиб ли Коля в Союзе или нет — не разведена, не вдова. Есть параграфы о раздельном житье — три года, кажется. Не встретимся наверняка никогда, и к чему бы? И там чужой был. Может быть, вы скажете, что прошлое Петра Михайловича — послушайте его рассказы только! — на него отблеском ложится и глаза мне слепит? Вижу и я позолоту, но и настоящее у него сквозь седину и

штопанную рубашку проглядывает, и это чистое серебро, если не золото, вот такими рыцари бывали, верю. Его привязанность понять нетрудно конечно: я последняя у него, когда уже человек о материнской руке в детстве вспоминает — а рука то давно уже в могиле, — и никого больше нет. Вы не смотрите, что я с братвой как угодно шпарю, мне его гобелен дорожке гороха был: тосковала всю жизнь . . . вот по таким гобеленам, по дому с колоннами, в котором они висели . . .

Понять было нетрудно, хотя она и не договаривала чего то. Неистребимый, но трезвый романтизм, одержимость тоской, мечтой и любовью, уживающейся с самодельной практичностью: лошадь она запрягает с полным знанием дела, и сбрую починить тоже сумеет; а в гобелене, запрятанном в телегу под сеном, разобралась и в рисунке и в красках — что для нее, быть может, хуже всего, по существу, потому что романтикам далеко не всегда попадают на пути гобелены — и многое другое.

Трезвых романтиков часто считают сумасшедшими, сумасбродными во всяком случае. Они не общепринятого образца, упорны и пытливы притом. Но не упрямы: они понимают, чего хотят, и почееу. Неистребимость же мечты и умение и воплощать ее самим и видеть это воплощение повсюду в жизни — качество, за которое их обычно терпеть не могут многие другие. Но этими многими я, откровенно говоря, интересовалась редко.

* * *

Весной Печорская амазонка приехала ко мне сама, с лукошком яиц, Петром Михайловичем в ворохе сена на телеге, и в своем обычном костюме. Громадная кепка чем то напоминала берет, а лицо — средневековых пажей, готические деревянные фигуры.

Петра Михайловича мы уложили отдохнуть, а она увязалась со мной в лавку.

— Покурим, — коротко сказала она, когда мы возвращались обратно, мимо церкви со скамеечкой в палисаднике. У нее задрожали руки, когда она свертывала себе козью ножку, и вдруг как то боком обняла меня, ткнулась подбородком в плечо.

— Скажите . . . вы не будете смеяться? Мне бы так хотелось . . . сказки. И . . . к маме. Да вот, сесть пора, а я . . . но ведь за всю жизнь — только раз и было. Изголодалась я!

— Сказки бывают, — сказала я убежденно. — Я в это действительно верю, и даже знаю, что так. И вы найдете.

— Найти мало. — Она усмехнулась, выпрямилась, посмотрела в упор. — Вот я вам расскажу одну — угадайте конец.

... любовная история, обычная для войны: случайно встретились, посмотрели друг на друга дольше, чем следует. Сказали что то — тише, чем нужно. В глазах, голосе уловили какой то сокровенный, близкий смысл. И почувствовали вдруг, как хорошо быть вместе.

Сколько таких историй? Любовная тема неизбежна, как смерть, неисчерпаема и неповторима для другого. Предложение, в котором важно не подлежащее, а дополнительные слова: обстоятельства места, времени и действия: человеческая жизнь.

А какая жизнь, если ежедневная смерть? Налеты бомбардировщиков днем, вечером, ночью? Дикий вой жуткой сирены? Рушащиеся дома, свистящие бомбы, взрывающиеся поезда. Улицы, потерявшиеся под горами щебня и обугленными балками; завитые штопором трамваи, забитые картоном окна. Вывороченная мостовая потеряла свой липкий глянec — ее не видно, под пеплом. Со стен содрана штукатурка, тонкий слой обоев, ковров, картин, и вместо лакировки уюта обнаженное мясо кирпичей, выпирающие железные, сухие кости. Стены потеряли свое значение, как и все остальные условности. Драгоценность человеческой жизни так же относительна, как время: за пять минут налета, за тридцать — нет, за три секунды свистящей бомбы — можно переоценить все.

Много переоценивает тот, кто мечется, задыхается в погребе, несет куда то, прячется, ждет, погибает без последнего слова, креста, могилы даже. А живущих еще — пока — несет, подхватывает, уносит дальше. Потом — вероятно, для кого то будет еще это «потом», — когда человек сможет остановиться, наконец, — ему будет трудно понять только самые простые вещи: он привык уже слишком не мыслить (мыслить невозможно) но знать, что все может быть только самым невероятным, и кроме невероятного ничего не может быть.

Может быть поэтому площадь незнакомого городка поразила своей тишиной? Вроде того, как бывает, если под судорожный скрежет взвизгивающей атональной какофонии современного композитора по радио, протянув руку, выключить сорвавшийся с цепи разум, и не опуская руки тут же завести музыкальную табакерку, скромный ящик с полировкой прошлого столетия? Простенькие, наивно усердные молоточки, отзванивающие незамысловатую улыбчивую мелодийку: дини-дини дон! — или чтонибудь в этом роде. Музыкальный ящик, разумеется, не произведение искусства, но он отличается именно тем, что не претендует на это. Его можно однако слушать без скуки, если не каждый день, то часто; а вот что касается какофонии, то когда она становится жизнью — в тех же налетах, например, то ее хоть и не-

возможно выключить, но от нее стараются уйти, и когда кончается — то возможно скорее изгладить из памяти, из души, из разума, стремящегося к ограниченности, а не к бездне — за исключением разве в тех учреждениях, где его, хоть и безуспешно, но лечат.

Но об этом городке лучше говорить в красках, или в старомодных, сантиментальных тонах. К идиллиям принято относиться почему то пренебрежительно. Кем принято? Людями, считающими чужое счастье чем то до неприличия мещанским. Своего у них нет. Но это — снобы, и им не часто приходилось умирать. А вот для того, кто умирает, живет в смерти — допустим идиллию тоже. Она сильно выигрывает от переоценки.

Ничем особенно не замечательный городок. Через него протекает река, темносерая вода под высоким парашютом. Кажется, что она не течет, а только рябится чуть-чуть, как смазанная жиром. Это тяжелый глянec от холода: берега в каемке ломкого, посыпанного снегом льда, и тем же сухим, скупым снегом напудрен мост через реку, улицы, костел, высокие крыши, провинциальные особнячки в садах, плечи женщин в тканых платках с бахромой и в длинных сборчатых юбках. В городе, кажется, только одни женщины, и все пожилые — от сосредоточенных лиц, когда они, мелко крестясь, выходят из костела. Церковь открыта всем и весь день; горит несколько свечей, и кажется совсем пусто, хотя всегда есть молчащие фигуры. Сюда приходят не только к колоколу, а по дороге домой или в лавку тоже: рассказать или помолчать с Богом о своих горьких делах. О радости вряд ли.

Часовенки тоже открыты всем. Прямо в простенке между стенами домов неглубокая ниша за выкованной решеткой. В нише деревянная статуя, а у ног — огонек свечи и живые цветы.

Цветы! Поразило, как врезалось в грудь. Есть и они, несмотря ни на что, и чьи то руки положили их на снег, к ногам. За вчерашний, завтрашний кусочек жизни, оставшейся или погибшей? Своей, другого? Проходящих мимо?

Они шли мимо, и остановились. Святой смотрел вдаль, на реку, розовый от вечерней зари снег. Цветы тоже нежно розовели среди потемневшего дерева, тусклых камней, закатной тишины.

— Святой Непомук — сказал он, придерживая ее за локоть: — Помолись ему: он помогает от любви . . .

Усмехался. Знал уже, что тот не поможет. Обнимал ее взглядом, чувствовал тепло руки, видел, как отвечает она на каждое движение, поворот головы. Так две половинки ореха склеиваются в одной скорлупе — хрупкая скорлупка случайного пристанища в незнакомом городе, мимоходом, проездом, остро и больно от

этой неповторимости, обреченности встречи — ах да, почему же не сказать навсегда, когда всей то оставшейся жизни — сколько часов, святой Непомук? Ты знаешь...

— А у нас и без снега, и без войны — не было цветов, — сказала она, и повторила, угрожая кому то: — не было.

Может быть, именно тогда, у подножия этой ниши дала себе слово, что будут у нее цветы тоже, если...? Или не успела пробиться эта мысль сквозь тяжесть греха, покаяния перед деревянным монахом?

Встречи этой не должно было быть, конечно, и вот... случилась. Вспорхнула, как чайки над рекой — они тоже осыпались розами в снег, в просветлевшее небо с темной полосой туч, кричали непонятно и тревожно, все вдруг.

На площади перед рекой стоял памятник. Латы рыцаря в снежной опушке, снежные усы под забралом. И здесь остановились. Он любил вообще читать надписи на статуях, цифры, высеченные каменными завитушками над дверью домов: прошлое взмахивало вдруг крыльями, и сверкнув, рассыпалось. Оживала история тех, оставивших след, для тех, которые его не оставят... даже в пыли. Стает снег весной на этой улице, камни станут сухими и гладкими, и пройдут другие люди, может быть, даже не эти женщины в ковровых платках, может быть даже розовых чаек в заре не будет над рекой.

«Рыцарь фон Ратибор, основавший город» — читал он медленно, разбирая надписи.

Ее зовут, знал, он, Ниной — ничего больше. И она не поняла сразу, дернулась вдруг: «Ра-тибор» — но куда же? В нише святой Непомук, «помогающий от любви». Поможет ли — перед этим рыцарем? Предком Петра Михайловича... статуя Командора! Когда она сошла здесь с поезда, чтобы передохнуть на пути, даже и названия города не заметила на вокзале...

Как будто по лицу хлестнули. Она резко и зло повернулась, подняла голову, трянула ею, по привычке — снежинки посыпались с кончиков волос, и снова, но уже по иному, безудержно понеслось куда то стремглав сердце: — пойдём дальше!

И пошла, чуть посвистывая, неслышно отбивая каблуком такт, как припев: «И тяжело пожатье каменной его десницы...»

— Забавно все таки, — сказал он. — Мы тут сразу в седую старину попали — может быть, у тебя калошки счастливые, по Андерсену? А хорошо пожить во сне. Давай играть в сон! Будто вот это наш дом — да, за забором, в саду, все наше, а внутри лестница в мезонин, и налево мой кабинет в коврах, а в залеце — непременно должно быть в таком доме залеце — там старый рояль и на нем скрипка в футляре... Вот войду и сыграю

тебе . . . Грига. Я любил раньше трудные, сложные вещи, а теперь хочется простых. Они глубже.

Он поправил кобуру у пояса и открыл калитку.

— Ну да, глупенькая, в этот дом мы и пойдем. Вместо гостиницы, у меня ордер, и я скажу, что ты моя невеста. Хозяйка не совсем в себе, странновата, но нам задумываться некогда. Поезд идет в пять утра, маршбефель, а до этого — еще много-много минут, и каждая из них — счастье . . . Ты думала когданибудь, что такое счастье? Не думай, не надо, не надо . . .

Он играл первую скрипку в Киевской опере, когда пришли немцы, и вот . . . немецкая форма со значком РОА, капитанский погон. Как получилось? Да так же невероятно, как у нее. Разве есть в их жизни какиенибудь образцы, вероятности, нормы? Рассказывали сбивчиво друг другу все, что можно уместить в бесконечные часы таких коротких дней в дороге, в нескольких городах. Она поехала за бумагами для венчания, но расписание поездов идет по налетам. Кобыла Машка осталась ждать в баварской деревушке, а Петр Михайлович в Берлине. У капитана с невидимой скрипкой служебная командировка, потом фронт, а она потом . . . нет, не надо, не надо. Остальное потом. После этой встречи, ударившей молнией. Может быть, следующая бомба ударит не рядом, а прямо, в этот, в следующий налет, и все разрешится само собой, без выбора, без мучений? И судить то будет некому, разве что святому Непомуку. Он добрый, поймет . . . а понимают ли такое — святые?

Сама не пыталась. Вопросы неразрешимы, и пусть, все равно. Только вот эта минутка сейчас, рука, на которую можно опереться, губы, улыбающиеся навстречу, глаза, целующие взглядом — и ничего больше? Нет, наоборот: все кругом, как в стекле объектива, каждая зазубринка на старой двери с мутными цветными стеклами, старомодный звонок с какойто мелодией, полутемная передняя с деревянной лестницей наверх, арка в гостиную, высокое трюмо, мягкий ковер . . .

Дом, хранящий жизни ушедших из него людей. Зеркало, помнящее вероятно, свежую улыбку девушки — той самой, которая стоит теперь в черном шелковом платье с золотой цепочкой и кружевами на шее, с взбитыми седыми волосами, и пристальными, спрашивающими больше, чем надо, голубыми глазами. Что-то особое знают эти глаза — и об ушедших, и о приходящих теперь чужих, и о доме, конечно, застрявшем на полпути между прошлым и взрывом настоящего. Дому осталось недолго жить, его нельзя закрыть наглухо, как ворота на просторный двор, на который не въезжают больше, подрагивая высокими колесами, маленькие каретки мелкопоместных помещиков. Стук колес и

копыт замолк, трюмо запылилось, донашивается последний слезавшийся шелк, все уходит: уют тишины, прочность ободряющей поддержки, нерушимой, как стены семейного гнезда, позолота раздумий, мечты и подвиги. Все ушло.

Только у этого, последнего порога, вспыхивает вдруг, как лампадка из давно забытой детской, зажженная рукой бабушек и дедушек, против которых восставали отцы, чтобы вот эти их внуки, опустошенные, ограбленные, выжженные до тла, смятенные, потерявшие веру, меру и вес, преступившие все границы — встали у порога, вдохнули этот воздух и — если бы не боялись, то просто опустили бы на колени и зарылись лицом в хруст шелка, попросту, но с недетской тоской отчаявшихся людей, у которых остались только обломки, обрывки, — и может быть, ничего больше.

Она была непосредственнее и сильнее безусловно: ей не было стыдно признаться в этом. У нее вспыхнули глаза, улыгнулись губы и протянулись вдруг руки таким распахнутым жестом, что старая немка — а может быть полька? — тоже неожиданно обняла ее вдруг и сказала: — Как вы устали, моя девочка. Я дам вам теплой воды помыться и вскипячу чаю.

Ему не хватало силы: может быть, не было столько заложено и раньше, или растерялось так много, что заставляло стыдиться. Он обычен, этот страх перед простотой, требующей гораздо больше, чем щегольства комплексами и тщеславного снобизма. Может быть, не хватало и внимания. До того ли в такое время? Впрочем, часто и в другие времена — не до других.

Да и странно тоже: она ведь не знала за минуту до того, что войдет в этот дом, не знала, как зовут хозяйку, а вот та стоит и смотрит на нее спокойно и ласково, и все видит, может быть даже больше, чем святой Непомук. А если у нее тоже была такая темноглазая, угловатая, упрямая внучка, грешная озорница, погнавшаяся за мечтой? Может быть, в комнату этой внучки они пришли? Широкий кожаный диван, белая кровать под вязанным одеялом кружочками, окно на заснеженный полукруглый балкончик в сад...

Он немного смутился даже, протянул какие то бумаги, но хозяйка отмахнулась от них.

— Да, у вас наверно ордер... я сказала в комендатуре, что если понадобится комунибудь отдохнуть с пути — впрочем, они бы и так прислали, свободные помещения реквизируются, а я одна в доме. Тут и останусь, никого больше нет. Да, чем бы ни кончилось. Мы срослись вместе, он и я, я в нем выросла, видите ли, мне поздно бежать куданибудь, да и немного шагов осталось уже... а вы молодые. Ну, ну, не поглаживайте висков,

господин капитан. Вижу, что они у вас начинают сесть — ровно еще. Очень рада, что пришел не какойнибудь фельдфебель с бутылкой водки и вонючими сапогами, а счастливая пара... Вы ведь очень счастливы, правда? Приятно посмотреть. Вот и будьте... впрочем, это можно проверить. У меня есть счастливое зеркало. Серьезно, вот в этом ларчике. Отражает в себе только счастливых людей, старое поверье. Как хотите, впрочем. Сейчас принесу вам чай и бутылку вина. Осталось еще — на случай. Нет, не за деньги. У меня не гостиница, я к этому не привыкла. Просто подарок.

Запсмилось еще, как он взял кусок газеты, чтобы обтереть ее ботики, осторожно снял их, целуя и согревая в руках ноги:

— Жалко снимать твои калошки — просто боюсь: а вдруг сон кончится, и мы опять назад, в наш век?

И еще потом, на рассвете, толкнула окно-дверь на балкончик, распахнула его, сгребла горстью свежее выпавший снег, обтерла лицо, бросила комком в него, и спаслась от ответного удара подушкой, бросившись к туалету. На пузатом комодике стояло зеркало, вазочки, и продолговатый отполированный ящик с инкрустациями и бронзовой застежкой. Открыла — а в нем небольшое зеркало, узкий овал в ковanej раме. Оно выдвигалось из ларчика, и внизу было два ящичка для мелочей — дорожный туалет в карете. «Счастливое зеркало» — сказала вчера хозяйка. Поднесла его, протянула, заглянула сама сбоку:

— Посмотры: ведь мы счастливы, и видим себя такими...

Но узкий зеркальный овал мерцал тусклым рассветным туманом, застывшей ледяшкой — и в нем не отразилось ничего. Запылилось, может быть?

Она протерла рукавом, прижала горячую руку:

— Застыло, надо согреть. Поцелуй и ты его тоже!

Он застегивал уже ремни. Маршбефель, поезд в пять, калошки счастья не помогут убежать больше.

— Это только у поэтов в венецианских зеркалах хрусталь и прозрачность. Старое зеркало тускнеет, с него слезает амальгама, и остается кусочек слепого стекла. Не огорчайся. Значит, мы встретимся? Мы должны встретиться еще, я знаю...

Она захлопнула ящик, но долго сидела, держа его в руках, поглаживала шелковистое дерево, выемки застежки, улыбалась забьтой на губах улыбкой.

Такой и застала ее хозяйка. Седые локоны стояли над лбом, как чепчик, в руках подносик.

— Чашка горячего крепкого чая, говорят китайцы и англичане, хороша во всех случаях жизни...

И, заметив ларчик в ее руках:

— Посмотрели? И..? Не увидели... вот как. Жаль. А ведь кажется, что очень счастливы? Нет, нет, помолчите сейчас, я все знаю: и амальгама стирается, и счастье такое яркое, что на него смотреть глазам больно, удар молнии, вероятно... все знаю, поверьте. Но я вам лучше расскажу об этом зеркале: Мне уже недолго осталось рассказывать, а вы напоминаете мне... не скажу, кого, нечего вам все знать, только сказку послушайте. Мы, старые люди, часто недаром говорим что-нибудь. А ларчик этот с зеркальцем возьмите с собой, когда поедете. На память, пригодится... посмотреться в пути. Места занимает немного, а мне оно больше не нужно.

Вот как находятся сказки: повсюду они, и ни убежать от них, ни искать не надо.

* * *

«Может быть, вы из одной страны, а я из другой, — но каждая славится чем-нибудь. Эта же страна, о которой я говорю, была знаменита больше всего своей умной королевой.

Королева была так умна, что заключила договор с птицами: их запрещалось стрелять или ловить, и даже подкармливали зерном, если не хватало мух; а за это они должны были, по сигналу с Небесной башни, собираться в большие стаи и нестись в небо. Если сигнал давался о дожде — они собирали по всему небу облака в дождевые тучи; а если о ведре — то расталкивали тучи подальше, чтобы солнце могло высушить землю. В стране был поэтому всегда хороший урожай и веселые праздники.

Договоры заключались не только с птицами: в королевстве было много старинных башен, стоявших без дела, и королева отдала их паукам, велела намазывать все пороги патокой, чтобы на нее садились мухи. Кроме мух, паукам давались шелковые коконы, и они пряли и ткали из них такой тончайший шелк, какого не было нигде больше на свете.

Да, королева была чрезвычайно умна, и славилась этим. Немудрено, что когда у нее родилась дочь, и на праздник, по обычаю, были приглашены добрые феи, она сильно задумалась. Феи подходили к колыбели принцессы, целовали ее, и объявляли о своих подарках. Многие из этих подарков сразу нельзя было увидеть, но феям верили на слово.

— Принцесса будет красивой, — сказала первая.

— И умной, конечно, — прибавила вторая.

— У принцессы будет доброе сердце — сказала третья фея.

— Она будет любить и ее будут любить тоже, — улыбнулась четвертая.

— И принцесса будет очень сча... начала пятая, последняя фея, но королева перебила ее.

— Позвольте, — сказала она, — я очень благодарна вам за подарки. Но если моя дочь будет и красивой, и умной, и доброй, если и она, и ее будут любить, то само собой разумеется, рассуждая логически, что она будет и счастлива тоже?

Фея улыбнулась.

— Каждая из нас может подарить только то, чем она обладает, — ответила она. — У меня, например, — счастье. Обычно от него не отказываются. Но, если ты не хочешь...

— Нет, нет, — заторопилась королева. — Я хочу только сказать, что моя дочь и так должна уже быть счастливой, благодаря другим подаркам. Может быть, ты подарила бы ей лучше особый дар, или вещь с особым свойством...

— Ну что же, — ответила фея, и опустив руку в складки своей одежды, вынула оттуда небольшое зеркальце. — Вот это зеркало отражает только счастливых людей, и не тогда, когда им кажется, а когда они счастливы на самом деле. Стоит только посмотреться в него, чтобы проверить... Хочешь, чтобы я подарила его принцессе?

Все остальные феи предостерегающе подняли руки, но умная королева не заметила этого.

— Конечно! — восхищенно ответила она. — Какой замечательный подарок! Принцесса будет не только очень счастлива, но и наверняка знать об этом!

— А вот этого я не сказала, — снова улыбнулась фея, и положив зеркальце у колыбели, исчезла.

— Бедная, бедная маленькая принцесса! — хором воскликнули остальные феи, и исчезли тоже, оставив умную королеву в полном недоумении. Она привыкла логически рассуждать и заключать договоры с кем угодно, и ей было непонятно отношение безрассудных фей и полное отсутствие логики у этих легкокрылых созданий...

* * *

Может быть, сказка рассказывалась и не так стройно — даже наверное. Мой рассказ уже из третьих рук, через много лет. Он прошел долгий путь, цеплялся за углы многих домов и вагонов, спотыкался на камнях, в поездах и телегах, на рельсах и штемпелях. Рассказы людей сбивчивы и сумбурны, пока не удастся

найти в них нить — или мелочь, освещающую, объясняющую почти все остальное: основную гамму красок в картине, блики светотени, синтез лабиринта.

А психоаналитики всерьез утверждают, что некупленный фунт конфет в детстве может заставить человека впоследствии построить фабрику, убить жену, подавить восстание — что угодно. Да простят мне Фрейд и все ученые толкователи подсознательного — я не вторгаюсь в их область, и почему бы ее нельзя брать всерьез? Очевидно можно, если из нее сделали науку и тратят столько времени, труда, денег и бумаги, не говоря уже о словах.

Но почему же в таком случае не может быть и «но»? Почему же, наряду со всем этим, отбрасывать на задворки сказку? Не следует обижать и ее тоже. Очень часто легче всего не только разобраться в жизни при помощи сказки, и понять ее, — но и справиться, или примириться с ней хотя бы — что тоже весьма полезно. И анализ и синтез редко так сливаются воедино, как в маленькой сказочке о том, как жили-были великолепные королевы, мудрые короли, странствующие рыцари и бедные маленькие принцессы — будь они Золушкой, гусятницей или — почему бы нет? — Печорской амазонкой хотя бы. Символы раскрываются просто, и опять таки, не забудьте пожалуйста: символы, а вместе с ними и сказка, — это то небольшое, что человек, по заложенной в него искре, сам находит и в жизни. Только сам и только человек на чудесной нашей, прекрасной, несчастной земле.

На довольно красноречивом языке цифр и фактов эта встреча формулируется как тысячи других: двое людей столкнулись, бросились друг к другу, разорвались — и снова пошли — ах нет, не своими, а теми путями, по которым их несло. Число таких встреч во время войны — легион. Причины разные, но установлены давно. Моральные оправдания найдены, хоть иногда и скрепя сердце, кратковременность почти неизбежна, а вот последствия... последствия не укладываются ни в какие цифры, и чаще всего печальны. По многим — как много было этих печальных и трагических причин, и сколько осталось искалеченных жизней...

Да, это так же не ново, как и внезапная любовь, и хрупкое человеческое счастье. Обломки прячутся, обрывки связываются, осколки склеиваются, и потом ничего не будет заметно — ни в лице, ни в улыбке, и голос станет спокойным. Счастье часто укладывается в сундук, запертый на тяжелый замок, но мы не скуные рыцари, увы, чтобы только время от времени любоваться им; мы таскаем его за плечами, и чем больше было счастья — тем сильнее оттягивает плечи тяжелый сундук, где бы мы ни останавливались

на пути: хотя бы у того канала в городском парке, на тяжелой воде которого — помните? — качался сухой опавший лист. Он давно уплыл уже.

Клятв не было — они были слишком взрослые люди для клятв, но обещания — глаза в глаза — были: она вернется к Петру Михайловичу, скажет ему все, и... дальше было трудно себе представить, что именно: дала ведь слово. И не просто дала: бросить сейчас человека с больным сердцем, спасшего ее? Но как бы то ни было. Что бы то ни было. Они встретятся и... будут вместе.

Его не убьют — о нет. Не каждая же пуля, как поется в песне! Чем бы ни кончилась война — а грозит полная катастрофа — обратно он не вернется. У нее там остался Коля, у него — жена и дети. Да и как знать: может быть умерли все, погибли? А в ней он нашел то, что искал.

Он сам верил этому, безусловно. Чему не поверишь в передышке между двумя фронтами, когда знаешь, что отступление уже началось, армии покатались, и если не будет чуда, то... же стоит и думать.

* * *

Она привезла последние бумаги для венчания — и призналась Петру Михайловичу во всем. Сказала, что любит того, будет ждать. Думала, что если он вынет вдруг свой револьвер и застрелит ее — то так и надо, умрет улыбаясь, счастливой. Только бы написать перед тем записку, что сама, чтобы его не обвиняли... и об этом тоже сказала.

Но Петр Михайлович не слушал. Сидел неподвижно в кресле, положив руки на локотники, лицо потяжелело от напряжения, голос охрип.

— Если бы не в Ратиборе это было, — сказал он с расстановкой. — Угораздило же тебя именно там... с Непомуком запутаться! Две королевы из нашего рода в Богемии были. Преданье есть, что одна полюбила рыцаря в отсутствие мужа, конечно, исповедалась в грехе своему духовнику, Непомуку. А король потребовал у него выдать тайну, и когда тот отказался, связал его и бросил в реку. С тех пор он и стал святым, помогающим от любви... Королеву, конечно, в башню заточили. И правильно. Не балуй. Ну, а с тобой что делать? Если бы ты в наших традициях воспитывалась... впрочем, как видишь: и у королей любовники бывали, и фавориты, и Бертрамы-менестрели. Образумишься. Завтра пойдешь со мной в ратушу, обвен-

чаешься, и делу конец. Больше говорить не будем. Я постараюсь забыть, и ты тоже.

Нет, не могла.

— К ратуше надо было пробираться по развороченным улицам, Петр Михайлович тянет меня за руку, а я еле иду, спотыкаюсь и оглядываюсь поминутно: все кажется, что вот выйдет, покажется в развалинах фигура в форме... как на казнь шла. Даже чиновник в ратуше посмотрел на меня и говорит: может быть, мы отложим венчание? Мне кажется, вам нехорошо. Значит, хороша была — но не во второй же раз идти, не выдержала бы просто. Так, по крайней мере — кончилось все. Усмехнулся Петр Михайлович потом, когда вышли, и говорит так горько: «Поделом мне, старику... а тебя не выпущу, свихнешься без меня окончательно». Так больше ничего и не говорили, на следующий день бежать надо было дальше, все на ходу. Весна сорок пятого — сами знаете, что тогда творилось... Только одно я твердо знала: долг свой исполнила, хоть одно слово сдержала. И вот, представьте себе: все время, пока я замужем за Колей была, я как будто перед покойными отцом с матерью извинялась: так, мол, вышло, трудно мне одной очень, и сама знаю, что не годится, а вот не могу одна справиться, другого ждать... Не то, чтобы часто эти мысли приходили, но все таки: а тут, после этого страшного венчанья — иной раз сижу часами и плачу в углу, трудно губы разжать, чтобы слово вымолвить, в груди сердце физически болит так, что дыханье захватывает, как вспомнишь только — а вместе с тем совсем прямо держусь. Мама моя тоже институточкой была, в пелеринке ходила, видела ее карточки... вот перед этой мамой теперь совсем не стыдно стало. Знаю, что взвалила себе на плечи, и знаю, что она меня благословила.

Была еще одна встреча — такая же порывистая и сорвавшаяся в пустоту — только совсем иначе...

— Потом уже, вот сейчас, этой зимой. Я ведь, как все кончилось, начала искать. Куда бы ни пошла, кого бы ни встретила: может быть, видели? Может быть, слышали? Может быть, встретите — так скажите тогда... вроде, как в песне. И вдруг недавно говорят: да. Есть такой. Жив. Там то. Городок на Дунае, посредине монастырь, а рядом столовка, армянин содержит, там и спросить адрес, он бывает всегда. Помчалась Петру Михайловичу сказала, что табак, мол, дешево там достать можно, а вот ему, как увижу — что сказать? Все равно — увидеть бы только... Как поезда ходят — сами знаете, а мне и страшно, и больно, и сама не знаю, что со мной делается. Приехала к вечеру — куда пойти? Гостиницы забиты людьми. А тут со мной одна

девушка в поезде увязалась — тоже искала кого то. Идем, улицы узенькие, старинные, крыши горбылем, стены в переплетах, сводах под снегом — прямо рождественская картинка из сказки, а у нас, замерзающих девочек, даже коробки спичек нет, чтобы согреться. Монастырь нашли: высокие двери, крутом стена, над ней колокольня. Я и постучалась в эту дверь. Ночь, говорю, мы на улице, чужие в городе, боимся... Внутри тоже полутемно оказалось, белые чепчики монахинь, как паруса, колеблются. Как они умудрялись в такое время накрахмаливать эти крылья — ума не приложить. На поясе связка ключей, руки пухлые, мягкие. И ведь вот меня по выговору сразу слышно, что иностранка, а спутница моя по немецки только мычать может, а впустили же нас. Места у них не было, но дали на диване в приемной переспать, утром помыться, водички какой то подкрашенной, кусок хлеба с повидлом... Я проснулась рано, холодно было, в окнах еще темь, но уже благовест слышно. Тишина в этих стенах, как колокол, сама гудит. Вышла в коридор — а они уже спешат из коридоров, плывут белые крылья, и глаза на другое смотрят... Правда это, что надо отойти от жизни, чтобы увидеть ее целиком, а не кусочек, как тем, кто в гуще стоит? Подумала тогда, что вот из монастыря сейчас брошусь — куда? К кому? Знаю ведь, и зачем, только самой себе признаться не могу.

— Поблагодарили, ушли, и я сразу нашла столовку — все нашла потом. Идти надо было за город по адресу. По дороге не удержалась — сбегала к Дунаю: правда ли, что голубые волны? Точно: голубая вода в Дунае, а во всех других речках здесь зеленая почти, с гор. Потом мимо замка: башни широкие, раселись совсем низко на углах улиц, а под ними идут, едут, и в самих башнях тоже кто то живет или работает, башни берегут, видно, и они оберегают — тоже. Вот опять прошлое, которое не отбрасывают, как тряпку, а влетают в настоящее, для будущего, крепости, устойчивости жизни. Очень ясно я свои мысли помню, все ощущения, повороты, краски. За замком парк был, и там анютины глазки, чуть снегом присыпаны, но цветут. Все таки цветут, как в Ратиборе — цветы на снегу. Не удержалась — сорвала один, сунула в карман — принести ему. И в ту же минуту на себя посмотрела — со стороны, знаете, редко смотришь, себя плохо знаешь. Одеальные брюки, не то берет, не то кепка, шея шарфом закутана, мажоркой разит... Тогда, в Ратиборе, я еще в шубке щеголяла, Петр Михайлович в Риге купил, мягкая, серенькая такая шкурка, белочка, в калошках бархатных — калошки счастья! Теперь и губы подмазать нечем...

— ...Ну, так что же вы еще хотите? Как встретились?

Просто, глаза в глаза. Сам дверь открыл — и сразу же закрыл за собой. «Ты извини, говорит, я не ожидал. У меня там...» ну вот и все, конечно.

— ... Нет, конечно, не все. Вышел, пошли по дороге. Снег и туман. Цветочка своего из кармана я так и не вынула, совсем он свалился там... Все рассказал. Как бежать удалось, и как узнал ст кого то, что я венчалась, ну а потом оглядываться начал, встретился с этой. У нее вещей много, они продают и живут ничего, авось уехать потом удастся, кто знает. Слушай, говорю я ему: я своего Петра Михайловича бросить тоже не могу, и как же мне тебя упрекать. Не за что, но одно помни: ничего не прошу, ничего мне не надо, только останься другом. Своим человеком останься, хоть письмами бы связь держать! Может быть, я тебе пригодиться еще смогу, может ты меня поддержишь когда — по человечески, просто! Неужели мы с тобой зря встретились? Не говорили бы тогда друг другу таких слов, не заглядывали бы до дна... Петр Михайлович для меня опора только потому, что я сама за его устои ухватилась, рассудить он лучше меня может, тверже, это так, но везу то я его с Машкой, трудно мне, пойми, пожалей!

— Вот теперь уж окончательно все. Обещал, конечно. Домой ему надо было торопиться, жена с обедом ждала. Так и ушла — в тумане заблудилась, на вокзале долго ждала, замерзла совсем... А дешевый табак по дороге достала, Петру Михайловичу беспокоиться не пришлось...

* * *

Много было в те годы таких историй. Годы отходят, заслоняют лица, врезавшиеся вдруг сразмаху в память. Но Печорская амазонка не потерялась. Как забыть, когда я нашла ее портрет?

Да, он и сейчас висит в мюнхенской Пинакотеке. Ее прославили на весь мир полотна Рубенса и Рафаэля, Ван Дейка и Рембрандта, ее описания во всех историях искусств. Не знаю, указан ли поразительный портрет одной герцогини, кисти Гойя: пожилая, очень некрасивая, надменная женщина с холодными скверными глазами и тяжелым подбородком — и в таких изумительных жемчужных серьгах, какие только мечта может придумать. Над этим сочетанием я и размышляла как раз, когда, почти совсем уже пройдя, заметила сбоку небольшой портрет — и ахнула, остановившись. Ганс Крелль, 1574. Мария, королева Венгрии.

Моя Печорская амазонка! Нина Бертрамовна фон Ратибор! Ратиборская сказка! Только без одеяльных брюк, — а в амазонке, наверно, потому что на голове плоский большой берет — почти, как кепка. Но то же смуглое, хотя потемневшее наверно от столетий, а не от северных ветров, лицо, и все в ней в коричневых тонах старого дерева: тусклые волосы, темные, чисто вырезанные, губы, и та же мальчишеская, горькая, озорная печаль. То же — но ведь действительно то же! лицо. Недостает только — чтобы она была той королевой — с Непомуком... Или фамильное сходство? Девичья фамилия амазонки — Свенхольм. Мало ли в чьих жилах не течет шведской крови от викингов! Если порыться в хрониках и архивах, в веках...

Но я редко роюсь в них. Кажется, главное уже знаешь, а всех мелочей не упомнишь. Поэтому так и не знаю истории королевы. Пусть и останется в веках, это принадлежит не нам уже, а с нас достаточно и нашего прошлого, мозаики человеческой жизни, которую иногда вот можно склеить по таким кусочкам встреч. Встречи же с амазонкой были не очень частыми, но бурными, как с взрывающейся ракетой.

Вот, например, еще через несколько лет.

— Похоронила Петра Михайловича. Отмучился наконец. Все говорил: погоди, освобожу тебя. А как умер, я взвела: совсем одна теперь, только ведь он один и любил меня, по настоящему, хоть и по стариковски. И я к нему привязалась — и его, и себя жалко. Тут же слово себе дала: никогда больше не пойду замуж — ни за кого. И так крепко задумалась, что голова трещала. Что делать? Из дипи вышла, германское гражданство по мужу. На квоту в Америку попасть лет через пять можно, ну а там? Работать, конечно, смогу еще. Языка не знаю, значит прислужой или на фабрику. Не лучше других, и не хуже, чем на Печоре, но может быть другие помоложе, или родственники у них есть, друзья, знакомые, а я? И ведь сидя на Печоре, сколько лет о Европе мечтала. Не то, чтобы о какойнибудь определенной стране, а о воздухе этом, совсем-совсем другой жизни. И вот попала, наконец. Конечно, громадная ломка, несмотря на всю мою внутреннюю эмиграцию, память о прошлом. Ходишь и глаза, как рот, разеваешь. Сперва — все вверх дном, и на душе, и вокруг, война, катастрофа, потом жизнь начинает восстанавливаться, приходит настоящее наконец, и опять бросать все, ехать в Америку? Возврата нет, опять строить по новому, едва попробовавши здесь? Там ведь совсем другой уклад, обычаи, понятия, все. Немцы хоть с коммунизмом познакомились на собственном опыте, понимают, и у них есть прошлое, традиции, понятия. Хожу вот в этих штанах, курю махорку, а стоит мне заговорить на моем,

пусть с иностранным акцентом, но приличном немецком языке, так меня иначе как «Даме» или «гнедиге Фрау» не назовут. Может быть помогут, может быть нет, это уж другое дело, дело сердца. Но сразу поймут, что я из бывших, и вот теперь нахожусь на неподобающем мне положении. Вот какое понимание ценно! В американском журнале «Лайф» видела однажды фотоснимок, от которого просто жутко стало: капитуляция Японии. Стоит стол под открытым небом, позади военные, а за столом, чуть ли не в коротких штанах, сидит развалиясь, американский генерал. И перед ним стоит, согнувшись слегка — знаете, этот их вежливый поклон — японский император. Сто тридцать третий в своей династии, Сын Неба, которому еще вчера воздавали божеские почести, и японский летчик, по ошибке перелетевший над дворцом, покончил с собой, потому что совершил неподобающее — очутился выше императора! Немцы, по крайней мере, в эту войну, когда уже о рыцарстве говорить не приходилось, так советским защитникам Севастополя почетный караул при сдаче в плен выставили, за доблесть. Может быть, кому и смешно, но мне эта разница очень важна. Точно скажу: помощь американцев беспримерна и колоссальна. Государство, организации, просто частные люди жертвуют щедрой рукой совершенно чужим, и не может быть все по расчету, как наши говорят, и никому они не обязаны помогать. Жизнь там привольная, богатая, и тоже глупости, что культуры нет — стоит почитать и посмотреть, это мы только за деревьями никогда леса не видим. Но вот этого, европейского, табели о рангах, как Петр Михайлович говорил — действительно нет. Приедет английская королева — будут в реверансах спотыкаться — и тут же «олд гэрл» по плечу похлопают и умилятся. Большевики тоже, знаете ли: то плюнут сразмаху на всю историю, то Александра Невского вытащат, и святостью его не постесняются, раз им понадобился. Церковные колокола разрешили, энкаведистов в рясы нарядили, а «бывшие люди» это у нас не то чтоб совсем уж ругательное слово, есть и похлеще, но ниже человек не может уж пасть, совсем никчemuшный значит доходяга. Ну что ж: хоть и совершенно другие условия, но американской демократии двести лет, а советской власти сорок. Пути разные, но есть и общее, как хотите: конгломерат народов, размах страны, крест на прошлом, пионерство, а отсюда и некоторая примитивность многих, и грамотных и неграмотных может быть, а? Или упрощение ненужных сложностей, но вместо них ведь массу новых придумали, а мне старые больше по душе.

— ... Я много думала. Сколько раз приходилось здесь бывших партейцев встречать. Вам может быть и непонятно, но мы быстро узнаем, наметался глаз. Нет, я не о чекистах говорю. Те

нелюдь, из тех Каинова печать, а вот директор бывший, главбух, инженер, а больше всего партаппаратчики. Никого они не мучили, никого не убивали, ну а что другим мозги на собраниях промывали, доносили, подножки ставили, спихивали — так это что же? Жизнь. Лет им большей частью около пятидесяти, так называемое поколение отцов, или делавших революцию мальчишками, или ставших ее детьми. Такие, как я, большей частью жертвами ее становились, если не удавалось как то спрятаться. И таких слава Богу много, но не об них говорю, а вот о марксистах насквозь. Вы обращали внимание? Очутился такой человек на Западе. Как — другое дело, замнем для ясности. То ли бежал, то ли очутился. Но вот тут, назад дороги нет, сперва в лагерях сидели, но в учреждения иривские поустраивались быстро, привычка вылезать осталась, знаете ли, потом в Америке устроились, или здесь. Эксперты то они конечно: и система и жизнь им досконально известна. Но это внешне. А внутренне? Вы же не наивный иностранец. Вы же не можете поверить, чтобы человек, перешагнувший границу между двумя мирами вот так просто, как выключателем щелкнул, так и все мировоззрение, взгляды, сущность свою в двадцать четыре секунды на сто восемьдесят градусов повернул? Конечно, говорить они будут, и о демократии, и о свободе, и выслуживаться перед хозяевами за счет своих, таких, как я, и старых эмигрантов тоже, — так же, как и там. И заметьте, что приспособиться они могут очень быстро, это нас еще чувства обуревают, и свобода чудом кажется, пока привыкнем, пересмотрим, справимся, и скажу прямо, не в последнюю очередь и с тем разочарованием, которое в нас Запад вызвал, с мечтой и действительностью. Всю жизнь ведь мечтали, а когда нас в сорок пятом выдачами прихлопнули, да и вообще познакомились, так все мечты кувырком полетели, душу перевернуло, не то что жизнь... Им — нет, о нет. Я не психолог и не богослов, и насчет души мало ученых слов знаю, но одно знаю твердо: марксизм выедаст ее насквозь, дочиста. Послушайте только внимательно, что они говорят, в особенности между собой, и что пишут! Совершенно ясно видно: весь душевный костяк, все устои человеческой этики испепелились, а держится человек только диаматом, который его, как панцирь черепахи, облегает плотно со всех сторон, и не пробить было. Что же теперь получается? Панцирь должен был дать трещину, а внутри пустышка. Пусть он и вдребезги развалится, но его изнутри ничего подпереть не может, потому что нету, ничего нет. Конечно такой человек есть и пить хочет, и притом повкусней, будет и жену свою любить, и детям игрушки покупать. Так ведь и кот с кошкой мышей на забаву котяткам приносят. Суть одна.

А внутри пусто, и от этого вчуже страшно делается. Хорошо еще, если разума не много, Бог убил. Может тогда такой человек себе дорогу понезаметнее пробьет, и о себе не задумается слишком, и других не тронет. Ну, а если у него мозги работают, образование есть? Ведь он все тогда чернит, от одной зависти и злости, от презрения к этим вот, наивным идиотам с идеалами, моралью, этикой, мечтами — все равно, старые ли они или новые — для него они все равно не свои. Чем умнее, тем ему больше при этом марксистская выгучка помогает — и в истории, и в любви, и в абстрактной живописи даже, чтобы только побольше по издевательски вышло! Потому что другого, кроме издевательского отношения у него к окружающему миру нет и быть не может, и собственную пустоту он выше всего и всех ставит. Молодежь — и в эмиграции и у нас там — это другое дело. Она ищет и мечется, она спрашивает и хочет найти, она сомневается и мечтает тоже. А вот этим все ясно и установлено заранее. Что с ними Бог делает — не моего ума дело, и что с ними здесь носятся, этого тоже, увы, не мне изменить, но в своей то жизни я сама себе теперь хозяйка, а над собственной душой всегда была, и там, и мне никто не указ! Я таких перекрашенных, перещелкнутых давно со счета списала. Да я ли одна! Как посмотришь, что они здесь Маркса по новому толкуют: это мол там его Сталин искажил, а вот мы по настоящему понимаем, нам бы власть... Они бы показали, будьте покойнички, даром что вроде гомеопатии получается: тех же щей, но пожиже влей! Они бы и на горячо любимую родину вернулись, если бы не так горячо любимое правительство им действительно безопасность гарантировало. Почему бы нет? На родине легче, и она простит их западные заблуждения. А вот меня родина не простит, никогда не прощала, и для меня вопрос только в том, прощу ли я ее когданибудь, а уж в ее прощении никак не нуждаюсь! По своей родной тайге я тоскую не меньше, но не я ее, а она меня предала и искалечила, только убить еще не удалось!

— ... Извините... я на другое съехала, но ведь это все одно к одному. Панцырь у нас может у каждого есть, только у меня это горечь, пусть даже озлобленность выработала, но нигилизма не было, отчаяние только. Не пришлось и трещины ждать. Увидишь вот такого, как Петр Михайлович, бывший человек по нашему, а по моему настоящий: раньше блистал, потому такое его время было, а теперь свою скромную жизнь построил, и все по старому осталось: та же свобода и гордость, та же непреклонность и любовь к тому, что считает правильным, и в Бога верит. Прочитаешь здесь какуюнибудь книгу: пишет человек, как думает и хочет, и неважно, если не все его мысли мне интересны

или я с ними несогласна — но вот нет этого панцыря! Прочитала я как то о чашке чая институток и послушала, как вот эти, перещелкнутые, зубы скалили: седенькие, мол, институточки то! Из кадетов песок сыплется! Конечно, говорю, — не то, что вы: всю жизнь только и смотрите, чтобы друг дружке горло перегрызть. Эти вот сорок лет помнят, пусть хоть на чашку чая между собою соберутся... трогательно. Конечно, зубры и уроды попадаютя тоже — но где их нет? Встретила я однажды такую безмозглую перепелочку: ах, говорит, как же вы жили там? Без салата? Честно скажу: хотелось мне ее треснуть, как следует, но удержалась, потому что вспомнила: совсем недавно одна медичка, институт ведь подумайте, в Киеве кончила, ей сейчас лет под сорок будет, так уверяла какого то мистера, что в Советском Союзе живя, ничего о концлагерях не знала! Верю ей — как идиотке не поверить? Она больше интересовалась, кто с кем живет и почему. Нет, и у нас такие же есть, нечего нам только других поносить.

— ... Опять я в сторону унеслась — наболело уж очень многое, простите! Так вот, мне о себе подумать надо было: чем жить? В лагеря я из-за Петра Михайловича не пошла — получилась дипи, дико живущая на свободе. Получали пособие: с голоду умереть нельзя, жить тоже. Что я знаю? Ничего, кроме языка, но учить ему я могла в печорской школе, а не в Германии. Выучиться писать на машинке — за это все хватаются, кто ничего не умеет — но кто меня возьмет? Не молода, порядков местных не знаю, какая я секретарша? Да и душа не лежит...

— Долго думала о ремесле. Но выучиться чемунибудь, года три надо — а у меня столько времени нет. Если бы какой талантишко был — рисовать, лепить, золотом вышивать! Никак не придумую, только одно знаю: свое мне надо, самой хозяйкой себе быть, хватит из под палки... Обратилась конечно и к своему, который... давай вместе чтонибудь построим! Познакомь меня с женсй, по человечески друг другу поможем! Куда там... При первых трех рюмках еще «да-да» говорит, а потом, знаете, живой человек как в туманный столб обращается, ускользает, извился — и нет его. Как ему удалось в этот оркестр поступить, и как его там держат, главное — не знаю. А ведь знает музыку, сам любит играть! Только работать здесь ему, видите ли, надоело! Наверно, от того, что от смерти и лагерей спасся, должны его задарма ксрмить и поить, а он только носом поводить будет! Нет, ничего не вышло, последняя соломинка у меня из рук ускользнула, и говоря коротко, было это мне хуже, чем расставаться с ним тогда, в Ратиборе, и за Петра Михайловича идти. Поверила ведь ему, и в него поверила — а так ли уж много в

моей жизни людям верить приходилось? Как я тогда — совсем другого вида? Пусть хоть три дня, но все таки? Неужели только одна сама виновата в этом? Неужели человек человеком не может быть? Долго за него цеплялась, . . . просто стыдно.

Но нашлись другие люди, хотя и без ударов молнии — да в них никакая молния ударять не стала бы. Один был безногий пожилой немец, бежавший на Запад из Восточной Пруссии, бывший булочник, другой — русский хуторянин из Прибалтики, старик мельник. С одним Печорская амазонка разговорилась на улице, к другому пришла табуретку починить: мастер был на все руки, и все боялся, что его в старческий дом упрячут.

— А у меня вдруг мысль! — ликовала она. — Ведь здесь настоящего ржаного хлеба ни за какие деньги не достать! А уже девальвация марки прошла, страна строиться начала, все есть. Наших еще много, и все о хлебе родном плачут. Что, если . . .? Мельник есть — смеет муку, как надо, и как печь булочнику покажет, а у этого, немецкого мастера, и права есть, чтобы дело открыть. Остановка значит, за небольшим: деньги . . . Капиталу у меня на руках — кобыла Машка, и гобелен с маркизами. И вексель на будущее: Петру Михайловичу, как беженцу, за его хуторок в Балтике возмещение полагалось — значит теперь мне, как вдове. С Машкой расстаться я не могла — кто же нас вывез, как не она? Да и всех ее четырех копыт не хватило бы. Возмещение — это еще вилами на воде писано. А гобелен . . . ну хорошо, я его сама спасла, Петр Михайлович не подумал даже, ему горох важнее был, принадлежит он по праву мне. Для меня символом стал: все рушилось, а вот этот кусочек остался. Посмотрю на своих маркиз, и плакать хочется . . . а потом в голову пришло: а они не плачут на стене в моей лачуге? И ведь никогда мне в таком особняке не жить, который им нужен. Все равно получается, что араба в телегу запрягать . . . От этой мысли я и решилась — дала оценить. — Тысячный гобелен оказался, продала, и — купила мельницу. Ну, а тут завертелось все!

* * *

Если проехать на трамвае в предместье, а оттуда автобусом еще дальше, на окраину, в деревню, уже прихваченную городом, но уходящую еще в поля, и свернуть с асфальтированного шоссе, то по простой, хорошей дороге, между амбарами и полями, где речушка делает поворот — там, под березами и ивами, стоит старая мельничка. На ней давно перестали молотить, не оплачивалось, но хозяину крестьянского двора, вернувшемуся с войны,

нужен был новый трактор, а земли кусок небольшой, и на отлете. Половину денег сразу, остальное можно выплачивать.

Есть такое выражение в немецкой философии: «die Tücke des Objekts» — злорадство объекта. И того, и других оказалось достаточно. Перечислять все слагаемые можно в любом порядке, а для получения суммы потребовалось не мало времени — лет шесть-семь. Мельницу пришлось починить, достать запасные части для машин, которых больше не делают; сложить настоящую печь, и достать для нее дров — в безлесной Германии. Перестроить сарай в дом для трех людей, и построить другой сарай — для Машки и кур; развести небольшой огород и сад; сделать рекламу; испробовать рецепты: баранок, сушек, мятных пряников, помимо хлеба; получить десять тысяч удостоверений, свидетельств, разрешений — влезть в бумажную паутину липкой и надоедливой дисциплины строго разграниченной, до тошноты упорядоченной и регламентированной жизни.

Но в лавках, сперва в беженских поселках, робко, — потом в дорогих деликатесных магазинах, где гордость фирмы заключается в том, что можно достать все, — от русской икры до малайского соуса, — появились темные караваи с наклейкой: настоящий, высоковитаминный ржаной хлеб, выпеченный на древесных углях; отзывы врачей: весьма полезен при таких то болезнях и для здоровья вообще. Его стали покупать. Он был темным, как шоколад, у него была настоящая поджаристая корочка, он пах действительно хлебом. О нем стали говорить, его стали заказывать и в другие города тоже. Сперва смеявшиеся немцы стали уважать, даже если не ели. Не хлеб, так труд.

К концу шестого года, когда старая кобыла не могла уже развозить по городу в смешной тележке, сделавшей, между прочим своим старомодным видом, да еще с дугой, немалую рекламу — когда Машка умерла на покое, то стойло ее окончательно заняли куры, а рядом пришлось таки сложить пристройку для подержаного автомобильчика.

На мельнице работало теперь еще двое рабочих, шофер и упаковщица. Появилась вторая печь для сушек и пряников.

Было много и других слагаемых: вечный вопрос: как достать денег, чтобы расплатиться с долгами; не грозит ли болезнь — спину и руки ломит от работы; учиться тяжело и трудно, бывают неудачи и срывы, и когда все держится на волоске, грозит катастрофа; нужно преодолеть не только собственную усталость, но и злорадство других, непонимание, зависть, враждебность; дым ест глаза, и пальто протерлось; одиночество. Семь лет, однако, порядочный срок: достаточно для суммы.

Сумма была же далеко не только в том, что вот, создалось на окраине большого города кустарное предприятие, и несколь-

ким эмигрантам удалось устроить себе скромную безбедную жизнь. Таких предприятий было много и раньше, есть повсюду и теперь. Не пора ли в конце концов перестать только говорить о «чужой земле» и изгнании, а примирившись с фактом (с совершившимися фактами так или иначе приходится мириться, в этом их главное свойство), не считать себя хуже «туземцев» на этой чужой земле? Им, безусловно, легче устраивать свою жизнь, но если пришлым и труднее, то нечего считать себя хуже. И кто, в конце концов, не странник на этой земле?

Итак: художественных талантов у Печорской амазонки не было; образование — среднее, не считая, правда, множества прочитанных книг и способности постоянно учиться всему, схватывать на ходу, а схватив, продумать. Возраст... психологами и врачами установлено уже давно, что у каждого человека есть «свой». Можно быть сухим стариком в двадцать, и сохранить живую душевную силу в семьдесят. Силу, конечно, а не ребячество — иначе получается трагедия седых девчонок и сторбленых мальчишек. Она сохранила в своей жизни мечту — а с нею и молодость. Здоровье? Девушкой еще, на обязательном военном обучении, застудилась, и хроническое воспаление осталось на всю жизнь, иногда мучительно обостряясь. Сила? Вот это действительно была; выдержка, энергия, несгибаемость, радость и любовь к жизни, а любовь — самая большая сила.

Помощь со стороны? Никакой. Ни родных, ни друзей. Даже близкого человека. Игнат Евстифеевич, старый латгальский мельник, мастер на все руки, но говорит «так само», обстоятельно и не без юмора. Зимнее пальто справил себе на вате, а на лифт не поднимался ни разу в жизни, и не сел бы ни за какие коврижки в чортову машину. Хромой мейстер Зееберг из Тильзита вздыхал о настоящих снежных сугробах не меньше его; он припадал на протезу, кольхал тучным животом под обязательным передником, и подкручивал по воскресеньям рыжеватые вильгельмовские усы. Баварское пиво было единственным, что могло примирить его с этой ненастоящей — помилуйте, что же за страна, если в ней половина — горы! — страной, где люди не понимали даже, что такое «доннерветтер», а говорили «круцификс». Ему случилось мальчиком видеть однажды Вильгельма: вот это был кайзер, и был порядок и все, а остальное потом — польское хозяйство! Пруссаки, конечно, высшая раса; впрочем, в необъятной России было тоже много настоящих аристократов, весьма щедрых. Коммунисты уничтожили их и с тех пор ходят с голым задом: плебеи.

Сочетание «фон» с советским происхождением в Печорской амазонке было выше его понимания; впрочем, при всей ясности своей житейской философии он допускал отдаленные туман-

ности: узнав, что река Печора протекает на Севере, он просто сделал из нее продолжение Балтики, и успокоился. Игната Евстифеевича он называл «мейстер Игнат», или, совсем по дружески, «Ефеч», часто щеголяя притом русскими словами — и даже не всегда собственного изобретения. После первых пофыриваний в усы, стал уважать его за мастерство. Муку для тех хлебов, которые он пек, «Ефеч» понимал до тонкости.

О гобелене ни с тем, ни с другим говорить не стоило, во всяком случае.

Было много знакомых: в советах недостатка не было. Никто не советовал ни покупать мельницы, ни обосновываться здесь вообще: война будет, гибнуть в первую очередь придется. Тем более затевать свое дело: ничего не выйдет, прогорите. Тем более братья за него одной. Словом, почти так, как советуют всегда.

Знания? Пряники научила печь мать, у крестьян видела, как пекут хлеб. На мельнице не была ни разу в жизни; держала правда дома, кур и козу, огородик тоже был, это знала, кроме чисто домашнего хозяйства; но ведь тут и бухгалтерия и налоги, машина и торговля, реклама и столько всего, что одного перечня хватит на добрый час.

Деньги? Да, конечно, не у каждого найдется дорогой гобелен. На возмещение за хутор Петра Михайловича удалось построить только один сарай. Однако, все таки это были деньги, и суммы покрупнее достаются не всякому: однако, с того момента, когда увидела мельницу и решила, добилась бы ее безусловно и другим способом.

Словом: рядовой человек. Ничего выдающегося, ничего особенного — если не считать замысловатого отчества — а этого пожалуй маловато для счастья.

Или было все таки, отличающее от других: трезвый романтизм? Сказать, что это качество присуще всем, конечно нельзя. Но если посмотреть внимательнее и признаться самому себе хотя бы: действительно ли найдется тогда так уж много людей, для которых романтическая мечта, чуточку сентиментальности даже, тоска по красоте — так уж чужды? Может быть, не в романтике дело, а, — давайте скажем прямо: в мужестве признать ее? Не для того, чтобы сражаться с ветряными мельницами, ломать копыя из-за идеалов только: идеалы все таки служат оправданием подобной борьбы. Но романтику вообще с трудом «оправдывают» в наше время — как будто было когданибудь время, чтобы она не нуждалась в этом! Как будто в любые времена она не вызывала снисходительной усмешки — в лучшем случае — со стороны многих, умудряющихся всю свою удавшуюся — или неудавшуюся жизнь построить на «реально-

сти». Так слепые люди, ощупывая предмет руками, заполняют осязанием окружающую их пустоту.

Романтики безрассудны: им присуще мужество мечты. Другое просто не решаются признаться в ней открыто, подсмеиваясь даже, в угоду пустоте третьих. Так или иначе — выходит, что бедны все люди на нашей прекрасной земле...

За что боролась бедная королева на портрете? Те же тоскующие глаза озорного мальчишки, горький, упрямый, ласковый рот. Наверно ездила верхом и охотилась, и любила какогонибудь ослепительного рыцаря, который не стал ее мужем; делала много добра и давала умные советы, но была слишком некрасива, чтобы блистать. Я ничего не знаю о ней, но хочется повторить, как в сказке: бедная маленькая королева!

Зато многие узнали про «Бертрамов двор». Туда ездили послушать тишину — и это, несмотря на мельницу, которая иногда ходуном ходила! В особенности, когда не было денег, чтобы поехать в свободный день летом куданибудь подальше. Некоторые купались в запруде, из которой вытекал ручей, именованный речкой; другие пытались ловить там же рыбу, и все с удовольствием ели совсем свежий, еще теплый хлеб, и уезжали с караваем и связкой сушек.

Двор выходил широкими низкими воротами на дорогу, а сарай прикрывали деревья, посаженные еще чьим то дедом. Под ними — тоже разросшиеся кусты немудрящей сирени, разноцветного терна, шиповника. Крохотная аллея из них вела к крыльцу, прилепившемуся, вместе с домом, к мельнице. Коридор с дверями по обе стороны: в комнату мастера Зееберга с раздрающе яркими геранями в зеленом ящике за окном, Игната, выходившую окном на двор, чтобы он мог следить за курами — хвостатая гордость; рядом жила Саша, черноглазая киевлянка, считавшаяся упаковщицей, а вообще хватавшаяся за все, и шофер, не попавший в Америку из-за легких, а теперь собиравшийся жениться на Саше: от добра добра не искать. В сад, с террасой, обвитой виноградом и розами выходила комната самой хозяйки поместья. Над старым американским столом конторкой висела полка с grosбухами, и часы с кукушкой: это была контора. Тахта заменяла кровать, потолок был довольно низким, но зато широчайшие окна во всю стену на террасу, и хитроумно сложенная пирамидой, с лежанкой и решетками, широкая печь из зеленовато синих изразцов.

Было здесь во всем то, что встречается не у всех, и многие чувствовали это, не умея определить. Уют? Мало. Бывает у многих, но без этого чего-то, говорящего неслышно, настраивающего на особый лад. Домовитость? Есть прекрасные хозяйки, а у них зябко в доме, и скучно.

Что это было на самом деле, показал шкаф. Мы покупали его вместе с Ниной Бертрамовной: я вместо эксперта.

— Карельскую березу в темноте разгляжу — жаловалась она, — это мое родное дерево, но кавказский орех видала тоже, а скажите мне вот, что это такое? Одно вижу, что не дуб и не бук, и слава Богу: унылое, дубовое дерево. И в барокко я не очень разбираюсь, а говорят вроде. Но между прочим дешево. За модный заплачу втрое, и стиль модерн не люблю. Унылый полуфабрикат, а я как радостью раздобылась, так и живу ею...

«Радостью раздобылась!» Вот и было найдено слово. Шкаф, метра четыре в длину, с массой отделений, выглядел уже по старинному старомодным, и шелковая, никакой дешевой не достигаемая полировка оранжевато-золотистого дерева была прелестна. Но в магазине случайных вещей, недостаточно дорогим для антиквариата, он выглядел просто хорошим шкафом. А в комнате («поскольку она из сарая переделана, то вопру это чудище!» — убежденно сказала Бертрамовна) — здесь он стал совсем другим, засветился изнутри идущим золотистым теплом. «Радостью раздобылась» хозяйка дома, вот это и было во всех вещах, углах, чуть растрепанных клумбах, в мельнице, шумевшей, как река, в торопливом поклевывании кур, в вертящихся бойко колесах старенького поместительного автомобильчика, развозившего хлеб.

Мельница с пекарней приносили чуть больше дохода, чтобы покрыть все расходы, включая жизнь пяти человек. Товарищество было на паях трех основателей: Печорской амазонки, Зеберга и Игната. Она внесла деньги и работу, они работу. В прибыли участвовали все. Она объясняла это охотно каждому, щелкая на счетах. Жили все с хорошей скромностью: жаловаться было бы грешно, но они и не жаловались.

Было главное: радовалась старая, вновь пригодившаяся мельница, и береза над ней; радовалась квашня для опары, хохотушка Саша, растерявшийся спервоначалу в эмиграции Игнат, домовитая печь, поглядывавшая на террасу, свесившаяся за окном ветка рябины, дождь, стучавший по крыше... Человек, открывая калитку, или тоже начинал радоваться сразу, или — чувствовал себя неловко. И романтика, и идиллия!

Ни на романтику, ни, тем более, на идиллию в наше время, считается почему то, человек права не имеет. У него одно исключительное право, очевидно: на несчастье. Не дай Бог попробовать устроить себе какой-нибудь счастливый кусочек жизни. И хотя все поместье, вместе с мельницей и шкафом, удобно поместилось бы в кармане многих людей — то дело, следовательно, было совсем не в заработке. Многие идеалисты, занятые страданием, за деньги или без, искренно считают, что страдать

необходимо, а радоваться неуместно, неприлично даже. Отсутствие логики в подобном парадоксе благоразумно обходится молчанием.

* * *

Лист давно уплыл на парковом канале с тяжелой водой. А здесь свившиеся перья ивовых листьев прибило коричнево-серебристой каемкой к берегу ручейка из под мельницы. Стоит тяжелая, предзимняя осень, холодный ветер, редкий дождь. От него краснеют лица, нужно кутать шею, и после часа тряски в разболтанных трамваях и облезлых загородных автобусах над скользкой дорожкой сразу широко встречает светлое окно в это тихое воскресное утро в усадебном доме, с запахом пирога с кухни, теплой лежанкой у печки, и румяными яблоками на столе.

— «Я одна у окошка. Ни гостя, ни друга не жду» — а вот и дождалась. Так и думала, что сегодня приедет ктонибудь.

— Ктонибудь?

— Пожалуйста, без многозначительного поднимания бровей. Вы наверно... думаете... о нет. Не приедет, не беспокойтесь. Конечно, рябиновка у меня всегда есть — надо смотреть в корень. Но мельницы я с ним не пропью — а поэтому ему скучно. И о непризнанном гении я уже слишком часто слыхала: пьет по сему случаю лет пятнадцать здесь — и раньше не одно молоко. Здесь с горя, конечно, на чужбине. Играет в оркестре, когда мог бы стать виртуозом. Но не стал, заметьте, а что помешало? Бутылка. Змея, кусающая сама себя за хвост, в чем виноваты все и все, кроме самого себя. А я не хочу быть виноватой, и кроме того, нахожу смысл в жизни. Хоть и пустяковый это смысл, наверно, но я маленький человек, и с меня его хватит. Не хочется злословить, но иногда встретишься с людьми — как в больничную палату входишь: все стонут кругом, жалуются, и неудобно как то, что у тебя румяные щеки. Или такое уж счастье теперь быть здоровой? Занялась я однажды душевной бухгалтерией. Впрочем, не однажды. Я часто ею занимаюсь, это помогает. В общественные деятели не гожусь, бесталанная вообще. Но кажется мне, что каждый человек, пусть самый маленький, может сделать что то. И для себя, и для других. А если нет семьи — людей найти можно. Вот мы: Саша и Вася шофер, и я — мы оттуда. Поженятся они, дети пойдут, я их нянчить буду, своих нет. А может быть, если дела хорошо пойдут, бездомного в дом возьму, старика или ребенка, все равно, воспитаю или приют дам. Игнат, хоть и смешно сказать, старый эмигрант, а мейстер попросту немец. Но все мы — клеточка,

и такие клеточки очень нужны тоже — не всем же гениями быть.

Ее скрипач думал, конечно, иначе. Он относился почему то с доверием ко мне, и однажды попросил поехать вместе.

— Прошлый раз я, признаюсь, нахамил немного... так вот теперь сказано: одному не приезжать. А с вами всегда можно. Впрочем, я редко заглядываю. Всегда то да се, времени не хватает. Знаю я ее конечно давно, но она сильно изменилась. Вы писательница, и понимаете, что Нина Бертрамовна очень милый, хороший человек, только мешанка чистейшей воды. С головой в быт ушла.

— А вот я как то не заметила этого — сказала я далеко не без задней мысли.

— Ну конечно же. Хлеб, куры. Вот и весь смысл жизни. И это в эмиграции!

— Но не все же могут вести так называемую политическую работу. Многие считают ее даже толчением воды в ступе...

— Совершенно с вами согласен. Выеденного яйца не стоит.

— А если вы смотрите с точки зрения музыканта, художника... не у каждого же талант есть!

— Да нет, я вообще говорю... как можно среди этих немцев, или американцев даже, среди кого угодно пускать корни вообще, устраивать свою жизнь? Для чего? Ну, а потом, когда вернешься, значит бросать все это? И сердце не лежит. Все равно все чужое. Конечно, здесь тоже есть хорошие люди, но знаете, нет нашей души, размаха. Я вот захожу иногда после работы в некоторые кабаки, где собираются воры, да, шпана всякая, точно. А ведь какие люди среди них попадают! Деньги есть — не жалеет: пей, гуляй вместе с ним! Один — Клопом его зовут, кличка, так его все немцы уважают — специалист великий своего дела. Он из Ростова, научился у нас подметки на ходу срезывать, ну и здесь орудует, попадаетя редко. Прочел я ему однажды стихи Есенина, так плакал, представьте, и потом меня трое суток не отпускал, крутили по всему городу, я чуть место не потерял. И вот тоже: я все таки первую скрипку играю, казалось бы, не беда, если одну другую сыгранку пропущу. Но попробуйте поговорить с немцами! Аккуратность, педантичность, ограниченность! Нет, нам никогда не понять друг друга. Важна не форма, а содержание! Ты посмотри, что у меня на сердце, а что галстук замаслился, так это не беда. А ваша Печорская амазонка забыла, как самосад курила и на телеге ездила, и теперь в помещицу играет! традиции, видите ли, появились. Просто тошно становится! Я за столом посидеть люблю, но мне важно, что на него поставлено, а не как, важно по душам поговорить с человеком, а не выражения подбирать...

Он не знал, что полгода тому назад мне было рассказано уже о его посещении кратко, но исчерпывающе.

— Два года не видалась, вот я и обрадовалась. Приезжай, говорю, хоть и запоздал, на новоселье. Хозяйство покажу, пироги спеку. Приехал как условились, и еле на ногах стоит, глаза мутные, сам мычит. Даже рябиновки, что я приготовила, допить не смог. После первых же слов начал матом крыть, во весь голос. Хорошо еще, что дома никого не было. Меня матом не проймешь, не покраснею, но тошно стало до скуки. Наконец он свалился, и проспал до вечера. А я посмотрела на все мои приготовления, и честное слово, со злости как хвачу любимую вазу об пол! Ну, потом разбудили, Евстифеевич проводил его к последнему автобусу, так он со мной еще о Чайковском, душе и Шостаковиче разговаривать хотел, обидился очень, и о ворах рассказывал. Нашел кампанию... и я урков видала немало, так неужели для того, чтобы от стихов Есенина плакать, непременно вором надо быть?

— ... Говорила ему раньше: давай, вместе. Сейчас отошло, как письма, перевязанные ленточкой, что из шкатулки вынимаются, а пока перегорало — волком выла, верила ведь в него. Почему он тогда другим казался, и мог же таким быть, а вот не стал? Родину я так же, как он, потеряла. Легко ли, думаете, мне после печорских чащоб в этот вот пригородный лесок ходить, где уж действительно за деревьями леса не видать, потому нет его. А все таки хожу — и радуюсь. Грибов в нем, правда, нет, — но и концлагерей тоже. С одиночеством легко ли было справиться? Что же у меня, силы какой то особой больше, чем у других? Никогда не поверю. Желание есть, вот что! Ты, говорит он мне, материалистка. Да, отвечаю, не хочу на пивоваренный завод работать, а для себя стараюсь... Выходит, что когда у меня счастье в руках пело и птицей билось — не настоящее оно было, не то, глубинное, на чем стоит жизнь. А вот теперь... или даже раньше, только зеркала не было, чтобы проверить? Я ведь и дома себя часто счастливой чувствовала — в лесу, например, в праздник, а в Балтике вашей, чуть ли не каждый день, когда дорвалась до мечты. Всегда жизнь любила, и человека и Бога в ней, а если иногда не различала, так от мечтанья только. Теперь вижу. Знаю, что делаю что то нужное, заповеданное, каждым своим караваем так будто даю что то — каравай за деньги, а привесок — за радость. Мы ведь его руками оглаживаем, а не машиной, и кажется, и другие это чувствуют, и мне благодарны, что сохраняю им этот кусочек настоящего и прошлого, передаю его дальше, чтобы помнили, прислушались, чтобы им лучше было... вам моя доморощенная хлебная философия не смешна? Не смейтесь, пожалуйста. Подумайте, что хоть маленькая кучка, но все таки несколько человек этим жи-

вет и радуется, а мы ведь тоже люди. Нашла свою дорожку, и иду по ней, пока Бог поведет. Все.

— Не совсем все...

— Вы о портрете? Подождите, выплачу мотор и найду бедного художника. Пусть скопирует мне его из Пинакотеки. После того, как вы рассказали я иногда на него, как в зеркало, кожу смотреться... удивительно и непонятно.

— А зеркало?

— Волшебное зеркало..? Может быть та старушка действительно доброй феей была, а я не заметила, глаза затуманены были. Я ведь позвала вас сегодня нарочно, чтобы рассказать. Возвращалась на этой неделе домой, в дождь, туман. Ноги промокли, и по дороге все подсчитывала, сколько мне не хватает, чтобы окончательно выпутаться, и на душе так тоскливо и мерзко было. Пришла, переделась, села у печки согреться, свечи зажгла. Когда мне на душе грустно — возьму зажгу свечу. От нее тепло и свет, огонек танцует, шепчет что то. Всегда успокаиваюсь от свеч. Посидела и решила: взяла ларчик, вытянула зеркало, поставила его и посмотрела — даже как то жутко стало.

— И... что же?

— Убедитесь сами. Чистое стекло, венецианский хрусталь. Может быть, тогда оно от сырости помутнело, и потому в нем ничего видно не было, или... я ведь в сказки верю тоже, знаете ли, я сама сказку не раз в жизни видела! А тут вижу себя, до последней черточки. Так легко и хорошо стало, до самого сокровенного облегчилось что-то, и поняла я наконец, что настоящей радостью раздобылась! А конец сказки — сами придумывайте, вам и книги в руки.

* * *

Нет, я не буду придумывать.

ЭПИЗОД

Никто не знал улицы, где должна быть уцелевшая школа, обращенная теперь в лагерь. Но и сами улицы разваливались грудями кирпичей, вздыбленными плитами, согнутыми балками. На площади осталось еще несколько уютных особняков, но на просьбы о ночевке двери испуганно захлопывались. До вокзала добрый час ходьбы, чемодан к вечеру невыносимо тяжел и бьет по ногам, а через десять минут — полицейский час. Ну что ж — придется ночевать в развалинах. Устроиться под какойнибудь стеной покрепче, чтобы не свалилась... На вокзале без крыши тот же каменный пол — да и вообще все равно. В горле сухая пыль, плечи выгибает вниз, в голове звенит. Хоть бы наткнуться на чтонибудь, упасть, и не вставать больше — так хорошо лежать и ни о чем не думать...

Подняла голову и увидела английского офицера, подходящего к автомобилю. Подобранная по военному фигура в хаки и розовая свежесть бритого лица. Может быть, отвезет ее в этот лагерь? Невероятное предположение. Но можно ведь, ковыляя мимо, спросить...

— Я иностранка, сэр. Мне говорили на вокзале, что здесь где то лагерь, но я не могу больше идти, и теперь уже полицейский час... Может быть... вы могли бы помочь мне?

Он остановился и медленно обвел ее взглядом.

— Давно в пути?

— Две недели.

— Почему вы так хорошо говорите по английски?

— Я кончила английский колледж у нас дома...

— Где ваш дом?

— Балтика.

Подумал и открыл дверцу автомобиля.

— Садитесь.

Спружиненные подушки, ветер в разрезе стекла, подпрыгивающие навстречу развалины и этот горячий тяжелый свинец в ногах, во всем теле, кусочками застревает и останавливает

кровь. Надо держаться за что то и широко распяливать веки: под ними песок, мешает смотреть и ломит в висках... Как жаль, что уже выходить. Но это не лагерь. Сад, особняк, холль — и прохладное кожаное кресло...

Это было последней мыслью.

Офицер положил на трюмо фуражку, ремень с кобурой, и обернулся. Женщина уже спала в глубоком кресле мертвым сном, беспомощно опустив руки с чемоданом и сумкой. Постоял несколько минут, присматриваясь. Стройная, блондинка, тридцать с лишним. Приличный синий костюм измят и в пятнах. Очень красивые и очень грязные руки. Ну да, на товарных поездах, угольных платформах, как они теперь ездят... С лица спящего человека сон снимает все маски, но зато покрывает его налетом смерти; спящий слишком спокоен, чтобы судить о нем. Повидимому, все таки интеллигентная женщина.

Он прошел в свой кабинет и позвонил.

— Паркинс, на кресле в холле спит женщина. Отнесите ее вещи в угловую комнату и позовите кухарку, чтобы та раздела и уложила ее. Когда проснется, пусть пройдет в ванную, а потом ко мне. Будить не надо, да и невозможно — она полумертвая от усталости.

* * *

Лю проснулась на следующий день только к вечеру. В раскрытое окно косо ложилось оранжевое солнце, из нагретого сада тянуло запахом земли и зелени. Голова кружилась слегка — может быть потому, что давно не ела. Часы на руке остановились. Надо припомнить, как все это получилось: английский офицер, да... хорошенькое положение!

На столе стоял поднос с завтраком. Налила чашку холодного кофе — настоящий. И, Боже, неужели действительно бывает такой белый, как бумага, хлеб?! Конечно, ветчина и яйца — тоже давно невиданные вещи, но удивительнее всего этот белоснежный хлеб... Такого просто не может быть! И пачка сигарет рядом — уже пугающая любезность. Что сказал бы Петр Александрович, если бы увидел ее сейчас?

Лю с наслаждением затянулась сигаретой и полузакрывает глаза. Вот, скажем, напротив сидит сейчас муж. Лениво раскинулся в кресле, седеющие брови насмешливо приподняты, полная нижняя губа оттопыривается брезгливо. Слегка картавящий тон и смесь изысканной любезности с кавалерийским жаргоном. Нетрудно представить себе, чтобы он сказал!

Лю энергично тряхнула головой и вскочила. Надо привести себя в порядок, поблагодарить, а потом на вокзал. Или...? Или

посмотреть, что будет дальше. На некоторый риск можно пойти. Хоть несколько часов побыть еще в настоящем доме, с целыми окнами, коврами, скатертями — и вот этой сверкающей, давно забытой ванной — после соломенной койки в рыбацкой деревушке, после ступенек и крыши вагонов.

В чемодане есть еще свежая блузка... Костюм кем то вычищен и выглажен — жуткая любезность. Ну что ж — придется вооружиться до зубов.

Женщина, готовящаяся дать отпор, делает себя прежде всего как можно привлекательнее. Но это логика жизни — или женская логика, что в большинстве случаев одно и то же.

Когда вымытая, причесанная, слегка подкрашенная Лю вошла в кабинет, англичанин, сидевший за столом, одобрительно улыбнулся.

— Я вижу, медем, что вы чувствуете себя сегодня лучше.

— Если бы не вы, сэр, я бы свалилась вчера на улице. Две недели ни спать, ни есть, и все время в пути по этой жаре...

— Я, конечно, должен был бы вас арестовать. В мои обязанности входит до некоторой степени борьба с иностранцами — с беспорядочной толпой голодных, полураздетых людей, атакующих поезд, мешающих транспорту и мечущихся из одного города в другой. Вы тоже наверно ищете своих близких? Кого?

— Мужа и... двоюродного брата.

Лю давно решила, что будет называть Глеба кузенком, но все таки еще запиналась.

— Своих ищут все. Это не оправдание. Страна находится на завоеванном положении. Я не арестовал вас по другим причинам.

«Поганый червяк», — решила про себя Лю. «Если ты скажешь мне комплимент, я отвечу дерзостью, а за гнусное предложение получишь по морде». Она вспомнила про душистое мыло в ванной и смягчилась. «Ну не совсем по морде, а так, на словах».

— Могу я узнать смягчающие мою вину обстоятельства, сэр? — холодно спросила она «английским» тоном.

— Конечно. Вы очень хорошо — для иностранки — говорите по английски. Кроме того, из Балтики родом. Я имел уже случай убедиться, что балтийцы в большинстве — хорошие лингвисты, и, будучи европейцами, знакомы тем не менее с... востоком.

Лю внимательно посмотрела на него. Он совсем не такой уж поганый. Белесые брови и ресницы, рыжеватые волосы, прилинные на высококом, переходящем в небольшую лысину лбу — и холодные светло-серые, какие то чересчур внимательные глаза. Может быть — Интеллидженс Сервис?

— Искренне могу ответить вам комплиментом, сэр. Для англичанина вы чрезвычайно хорошо разбираетесь в континентальных обстоятельствах.

— Мы понимаем друг друга, значит. Разрешите теперь проэкзаменовать вас. Ваши личные данные? Курите, пожалуйста.

— Родом из Балтики, латвийская подданная, русская по происхождению, тридцать четыре года, замужем, имя и фамилия Людмила Ивина — английские знакомые называли меня обычно лэди Айви, — год тому назад бежала из Балтики, по профессии скульптор, кроме русского знаю английский, немецкий, французский, латышский и польский — анкетным тоном отбарабанила Лю.

— Моему мужу пятьдесят шесть и кузену сорок два года — подумав, прибавила она. — Оба были в германской армии на восточном фронте. Муж — старый русский офицер.

Англичанин сложил кончики пальцев и внимательно смотрел на них.

— Вы предугадываете мои вопросы... «лэди Айви».

— Не нахожу нужным скрывать свои убеждения, хотя это сейчас кажется невыгодно. Русских, служивших в германской армии союзники считают изменниками, не так ли? Надеюсь, что вы больше разбираетесь в политике, сэр.

— Простите, но я забыл представиться. — Он привстал и церемонно поклонился. — Капитан Джемс Ричель. Итак, ваши дальнейшие планы?

Лю пожала плечами.

— Добраться до какогонибудь центра — Франкфурта или Мюнхена, попытаться навести справки о своих и устроиться на работу. Скульптуры мои сейчас не нужны, но я знаю языки.

Он еще раз вскинул на нее приценивающийся взгляд. Энергична и не глупа, хотя немного эксцентрична, как все славянские женщины. Но зато и чисто славянская интуиция.

— При теперешнем хаосе вам потребуется еще две недели, чтобы добраться до Франкфурта. Не говоря уже о лишениях... Я заведу здесь довольно большим районом. Предполагается организация различных лагерей, опросы, директивы и так далее. Мне нужны дельные сотрудники, владеющие языками. Предлагаю вам пробыть неделю гостей, и сопровождать меня в поездках в качестве переводчицы. Через неделю мы решим, насколько вы подходите для дальнейшей работы. Если нет — вы потеряли только неделю. Если же я в вас не ошибся — а я редко ошибаюсь — то выиграете гораздо больше, чем смогли бы сделать за это время. Платим мы хорошо.

Он еще раз посмотрел на кончики сложенных пальцев и прибавил:

— Должен предупредить. Во-первых — не имею ни малейшего намерения предложить вам стать моей «личной секретаршей» в общепринятом к сожалению смысле. Вы очаровательная женщина, но я не привык иметь со своими подчиненными какие либо другие отношения, кроме чисто дружеских, в лучшем случае. Иногда даже вопреки их собственному желанию.

Холодный, не допускающий никаких возражений тон. Даже Петр Александрович не стал бы сомневаться. Лю совершенно откровенно свободно вздохнула и признательно улыбнулась.

— Тем более благодарна вам, сэр. А во-вторых?

Он слегка наклонился вперед, и Лю стало немного не по себе. Странная смесь холодной пытливости и человеческого тепла в этом взгляде. Такие глаза были, наверно, у Редиарда Киплинга — или у полковника Лоуренса?

— Второе условие и просто и необычно. Абсолютная правда. Мне приходится иногда задавать неожиданные и даже щекотливые вопросы. Я требую голый и исчерпывающий ответ, без умалчиваний и недомолвок, безразлично, в пустяках или серьезных вопросах. Только это. Но в этом «только» заключается все. Я вас встретил на улице. Может быть, ваши документы настоящие. Я проверю вас, конечно — но другим образом. Прошу понять, что со мной не стоит разыгрывать какойнибудь роли. Будьте тем человеком, каким вы есть на самом деле. Если ваши достоинства смогут уравновесить ваши недостатки, я прощаю ошибки. Но не забывайте об этом условии, потому что я предлагаю его только один раз — и не напоминаю больше.

Лю закурила сигарету и выругала себя за то, что у нее слегка дрожат руки. Слишком неожиданный уж разговор и смена декораций.

— Простите за смелость — но я тоже должна поставить одно условие, сэр.

— I wonder — протянул он, чуть улыбнувшись, и ей сразу стало легче от этой улыбки.

— Могу работать, но не изменяя своим убеждениям. А они у меня есть.

Он улыбнулся на этот раз уже явно, слегка забавляясь ее горячностью, но в глазах мелкнула ласковая серьезность.

— Вы храбрая женщина, «лэди Айви», и умеете формулировать ваши мысли. Я уверен, что мы с вами сойдемся. А теперь пойдемте ужинать, и расскажите мне о вашем доме. Я люблю слушать.

«Петр Александрович блистательно посрамлен, и если это не сказка, то незаслуженное счастье, — думала Лю, вытягиваясь

вечером на шуршащей простыне — дай Бог здоровья таким людям на свете!»

Она еще раз вздохнула от полноты чувств, и так и заснула со счастливой улыбкой.

* * *

Особенность многих художественных натур состоит в том, что они создают себе совершенно ложное и очень твердое представление о собственном характере, и держатся за него с мучительным постоянством. Лю, например, была уверена, что она очень сильная женщина, и должна поэтому шутя справляться с жизнью. Но художник должен быть романтиком. Романтики должны уметь создавать сказки хотя бы из ничего. В этом их счастье. А несчастье заключается в том, что они слишком часто создают свои сказки именно и только из ничего. Лю не была исключением, но она любила жизнь и умела любоваться ею, а это согревает и других людей.

Сейчас, после нескольких лет войны, страхов, бегства, беженской жизни, она не радовалась, а просто наслаждалась каждой минутой.

Через несколько дней она нашла себе комнату на соседней улице. Семейный домик, партер, окна в сад. Она переставила мебель по своему и выкинула половину вместе с вязаными салфеточками. Протесты хозяйки были потушены в самом начале двумя банками консервов и английским шоколадом.

Старой немке пришлось излить свою душу перед соседями, сочувственно кивавшими головой. Ничего не поделаешь, теперь приходится считаться с иностранцами, кто бы мог это раньше подумать? Впрочем, фрау Гербер, не так уж плохо. Молодая русская дает ей кое что, и ночует одна. А жилец из другой комнаты тоже херр инженер, и жил тихо, а теперь вообще уехал и заплатил вперед, так что комната за ним и никакого беспокойства. Вот к Вассершмидтам вселили целую польскую семью с маленькими детьми, и они варят себе обед на печке в ее «гуте Штубе»! Ужасно! Если бы несчастный фюрер мог знать, как они страдают! Но он не виноват, конечно, повсюду была измена, а он хотел только добра своему народу...

После длительной голодовки консервы и шоколад были конечно немалым удовольствием. Но долгие разговоры с капитаном Ричелем во время поездок, а еще чаще по вечерам, живая, интересная работа, — это было уже радостью, и давало возможность помочь своим. «Своими» Лю считала всех иностранцев вообще, а в особенности, конечно русских и балтийцев. .

Сколько ошибок, сколько драм и непоправимых преступлений совершалось на каждом шагу и главным образом только потому, что победители не знали, или не хотели знать почти ничего, а побежденные знали слишком много, но боялись или не умели этого объяснить! Лю часто приходила в отчаяние от бессилия преодолеть мертвые параграфы созданных наспех законов. Но часто удавалось и помочь, и тогда еще ярче, еще сильнее можно было радоваться всему.

Капитан Ричель снисходительно улыбался, но в сущности был очень доволен ею. Через две недели он мог рассказать о «Лэди Айви» больше и безусловно точнее, чем она сама. В работе она была очень полезна, быстро осваивалась с каждым отдельным случаем, легко соображала, переводила быстро, давала краткие и точные отчеты, и, несмотря на свою эксцентричность и мягкую женственность, прекрасно отличала черное от белого. В этом отношении его даже иногда поражала ее принципиальная непримиримость.

Хорошо было также, что она не пыталась флиртовать с ним, — мужское самолюбие капитана совершенно подавлялось в этом случае служебным долгом, — но этому же самолюбию невольно и ненавязчиво льстила ее детская радость каждому пустяку и легкое, хотя и нескрываемое преклонение, хотя он принимал его, как истый англичанин — то есть как должное.

Но истый англичанин немислим без своего конька — а коньком капитана Ричеля была психология. Поэтому он и поступил в Интеллидженс Сервис. Ему нравилось обнажать человеческую душу, заниматься психологической хирургией, быть оператором и наблюдателем, играть в шахматы с живыми людьми. Фигуры менялись, шахматная доска тоже, но направления всех ходов оставались неизменными: голод, страх, пороки, любовь и честолюбие. Дело было только в оттенках, но это «только» и было самым интересным.

Нет, «лэди Айви» — он всегда называл ее так, в кавычках, разумеется, — была положительно приятной находкой. Он искренне заботился о том, чтобы ей было хорошо, и наводил справки о ее близких. Пусть не нервничает — это мешает работе.

* * *

— Сегодня вечером вас ожидает маленький сюрприз — сказал капитан Ричель по дороге домой.

— До, после, или во время ужина?

— Вместо десерта.

— Сгораю любопытством, сэр.

— На это я действительно хотел бы посмотреть. Вы чрезвычайно оригинальная женщина — совсем не любопытны.

— Почему вы не пишете психологических романов, сэр?

— Каждый французский буржуа мечтает на склоне лет сажать капусту. Но я не поклонник вегетарианства и может быть вместо этого действительно займусь описанием очаровательных лэди, обладающих способностью засыпать на сутки, как только они переступают порог моего дома, или чрезвычайно низколобых молодых людей, почему то заинтересовывающих моих сотрудниц...

Удар был направлен прямо в цель. Лю невольно вздрогнула даже: коренастый, на низком ходу Иван Павленков с повадками рубахи-парня и неприятными, издевающимися глазами хитрого зверя не выходил у нее из головы.

— Он мне очень не нравится, сэр — и его пребывание в лагере в особенности.

— Об этом мы тоже поговорим.

Судя по всему, капитан Ричель собирался доставить себе сегодня развлечение. Лю успела полюбить такие вечера. Паркинс убрал со стола и они перешли в кресла. Камин не горел, его заменяло широкое окно с догорающим на закате садом. Одного взгляда на столик с бутылкой кюрассо и фруктами для Петра Александровича было бы достаточно, чтобы определить дальнейшее красочным выражением и — блистательно ошибиться.

Первое время Лю невольно настораживалась, потом привыкла, что интимная обстановка просто создавала уютный вечер. Она всегда пила очень умеренно, но быстро теряла пресловутую «английскую» выдержку, которой обычно очень гордилась, и говорила много, горячо и искренне. Капитан Ричель пил как то незаметно, чуть бледнел только и слушал, задавая иногда совершенно неожиданные вопросы.

Сегодня на столике лежала доска, прикрытая салфеткой. Ричель молча кивнул ей.

— Достал для вас, но не совсем уверен, годится ли...

Под салфеткой лежала глыба пластелина.

— О, сэр!

Ричель удовлетворенно отметил заблестевшие глаза, новую черточку у бровей и непреодолимую тягу пальцев к поддающейся массе. Он не смотрел на ее работу, но когда она протянула ему через полчаса статуэтку, нагнулся вперед и тихо рассмеялся.

— Впервые слышу ваш смех, сэр. Мое самолюбие удовлетворено.

— Но ведь это действительно Паркинс! Осторожная старая крыса с подносом в руках. Вуд в пластике. Очаровательно. Ну,

а теперь выпейте для храбрости, и не пытайтесь польстить мне и в пластелине.

Лю вызывающе тряхнула головой и наклонилась над доской. Что ж, — если он англичанин, то должен понимать юмор!

Через час еще от груди пластелина остался маленький кусочек, Лю облегченно вздохнула, вытерла пальцы и выпила залпом рюмку, чтобы согреться. Теплый августовский вечер разнеживающе вливался в окно, но она слегка дрожала от знакомого возбуждения — значит, действительно удачно поработала сегодня...

— Вы, конечно, читали, «Книгу джунглей», сэр? Второй персонаж не совсем по Кипплингу, правда, но...

Громадный, старый и мудрый питон Каа поднял трехугольную, плоскую голову и снисходительно улыбался краешком губ. Глаза и лоб были точной копией Ричеля — умный, холодный и внимательный взгляд. Однако, маленькой белке, с личиком Лю, сидевшей перед ним, было совсем не страшно: поза выражала полное доверие, а пушистый хвост задирался кверху с забавной лихостью.

— Снимаю шляпу, «лэди Айви». Как жаль, что вам приходится заниматься теперь другим. Но мы еще подумаем, как бы вам начать лепить. А это что?

На обломке скалы сказочно красивая птица с человеческим лицом и громадными глазами завернулась в перья обвивавших ее крыльев.

— Это еще один из бесчисленных эскизов на тему моей самой большой работы. Сюжет из русской мифологии — Гамаюн, птица вещая, знающая, что такое счастье. Сколько раз я уже пыталась лепить ее — и никак не могу дать ей настоящее лицо. Не хватает чего то. Или таланта, или — значит, не все еще знаю в жизни, что нужно.

— А вы знаете, что такое счастье?

— Да, я была счастлива «как боги». И вот теперь, в этом наброске, есть что то новое. Жизнь лепит художника, и если она захочет создать мраморную статую, то берет резец — и мрамору очень больно. Ну что ж — зато оживает мрамор.

— Тема очень интересна, но я хочу отвлечь вас от грустных мыслей. Это давайте сюда, я поставлю себе на письменный стол. Вы не слишком устали?

— О нет. После работы наоборот — чувствуешь потребность говорить, дать выход напряжению.

— Выпейте еще, это вам поможет.

В голосе Ричеля слышалась заботливость. Он не ожидал, что она на самом деле настоящий талант, и наряду с восхищением было почему то жаль ее.

— Мне бы хотелось задать вам один вопрос, лэди Айви. Со всем из другой области. Я знаю ваши убеждения и принципы. Я знаю, почему вы интересуетесь этим парнем с низким лбом — Джон Пауленкоу — о, ваши невозможные имена! Но вы берегитесь за дело с горячностью и упорством, которые меня все таки удивляют. Может быть, месть? Или я ошибаюсь?

— Вы еще ни разу не ошибались, сэр. Но это не месть. Мне просто хочется загладить то, что я считаю своей невольной виной, соучастием в общей вине, так сказать... Я испытала однажды чувство глубочайшего стыда — и дала себе тогда обещание расквитаться за это.

— Я слушаю.

— История начинается издалека. В Риге незадолго до войны всем известной фигурой была одна женщина, русская. Назову ее только по имени: Кира. Она была очень способной и энергичной журналисткой, но с резким и неприятным характером. Многие не любили ее. Когда город заняли советские войска, сразу же поползли слухи, и через две недели никто не сомневался больше: Кира была агентом-провокатором и не стала, а была им уж давно. Она знала подноготную всех обществ, организаций, союзов, и теперь выдавала одного человека за другим. Впоследствии она занимала важный пост в самом страшном советском учреждении. В течение года она предавала людей десятками и сотнями, даже тысячами. Я была одной из немногих ее знакомых, которые остались еще на свободе. Вины ведь не требовалось. В самом существовании нашем заключалась «вина». И мне, и другим, был известен ее адрес. Ее работу знали все.

— Что с ней случилось?

— Говорят, она погибла на затонувшем пароходе, во время бегства, когда началась война. Точно неизвестно.

— Это все, «лэди Айви?»

— Нет. Два года тому назад я рассказала эту историю моему знакомому японцу. Я давала ему уроки русского языка. Вот сидим, как мы сейчас с вами, даже коньяк тоже пили. Ими-сан сидит, подтянув ноги, руки подмышками, глаза полужакрыты. Потом разжимает немного веки и спрашивает: «Что же вы сделали?»

Лю проглатывает нервный комок в горле и закуривает новую сигарету. Капитан молча наблюдает за ней.

— Только этот короткий вопрос, сэр, и мне сразу стало ясно то, о чем я как то не думала раньше: в нашем городе были тысячи мужчин, сотни офицеров, и все, зная, что они обречены, покорно шли на убой, как стадо. Никто не возмущился. Никто не убил ее. Пусть бы его расстреляли за это — но его все равно должны были замучить, а он, быть может, мог бы спасти других

обреченных — или просто раздавить гадину. И никто не шевельнулся.

— Вы так и сказали японцу?

— Нет, я только развела руками, и он улыбнулся. О, сэр Джемс, эта улыбка! Мне никогда не было еще так стыдно: так позорно покраснеть и за себя, и за всех своих — покраснеть до глубины души. Я дала себе тогда обещание — заглядить свою вину. Если я встречу еще раз предателя, я... И пусть меня судит Бог!

Она подняла голову и твердо посмотрела на Ричеля. Лицо англичанина продолжало оставаться каменным, только в голосе чуть дребезжала трещинка, как усталость.

— Жизнь прекрасна — это ваш девиз, «лэди Айви»? И безжалостна. Это не ново. Это очень избитая истина, но разве она была когданибудь так горька, как теперь? И самое страшное, что подобный вопрос сотни раз уже задавали себе наши отцы, деды и прадеды. Эпохи отчаяния и ужаса — не новость в истории. Каждая очередная казалась пределом того, что может вместить человек. И каждая следующая была еще ужасней. Неудивительно, что теперь одни люди отупели, а другие звенят, как струна. Я люблю звенящих людей, но мне их немного жаль... Но я начинаю философствовать, а уже достаточно поздно, и вы устали. Спасибо за хороший вечер. И вот эти розы, как искренняя дань вашему таланту. Я собирался передать вам их раньше, но забыл, потому что я сегодня в исключительно сентиментальном настроении.

Лю невольно улыбнулась.

— Великий Каа и сентиментальность, сэр! Чисто английский юмор. Но как вы достали такие чудесные розы в разбомбленном городе...

Он крепко пожал ей руку и церемонно поклонился, как всегда, провожая в холль.

— Покойной ночи!

На фоне темно-синего сада, в рамке двери, женщина в легком светлом платье с охапкой роз в руках — капитан Ричель подумал, что если бы он не был так уверен в себе, эта прелестная картинка могла бы стать опасной, пожалуй.

* * *

Теплые, тихие, синие улицы позднего летнего вечера. Лю шла не торопясь — у нее есть пропуск, и многие патрули уже знают ее в лицо. Сегодня было много интересного, настроение приподнятое и выжидательное — как будто может быть чтонибудь еще...

Войдя уже в свой сад, удивленно прищурилась. В комнате напротив ее горел свет. Вернулся, значит, второй жилец — бедная фрау Гербер будет теперь окончательно терроризована унтерменшами! Какой то не то Волков, не то Полков, русский...

Лю не могла открыть дверь своим ключом — мешали розы. Новый сосед услышал и вышел в переднюю. Лю закрыла дверь и повернулась, чтобы пройти к себе — но почувствовав его взгляд, подняла голову.

— Я не верю, — сказала она и еле расслышала собственный голос, — я не верю, что это ты, Глеб...

— Лютик — солнечный Лютик мой!
Бывает счастье.

* * *

— Сегодня вечером я попрошу вас поужинать со мной, «лэди Айви».

Капитан Ричель сказал это обычным тоном, но Лю показала, что он чем то недоволен. Она быстро постаралась припомнить все свои грехи. Нет, последнее время она работала даже лучше обычного: счастье так заполняло всю ее, что окружающее воспринималось с предельной обостренностью, и так хотелось, чтобы всем другим тоже было хорошо.

Правда, за последние три недели не было ни одного вечера с Ричелем — не выходило как то. Или он заметил, что она торопится вечерами домой, и вообще старается использовать всякую свободную минуту, чтобы улизнуть? Но это еще не преступление. А может быть, он уже знает все про Глеба и недоволен его появлением? Какое ему дело?

— Сегодня довольно прохладно, и я велел Паркинсу затопить в гостиной, — сказал капитан, когда они кончали ужинать.

— Холодная погода тоже имеет свои преимущества.

— Да, и одно из них заключается в закрытых окнах.

Предостережение или намек? Разве можно что нибудь разобрать в этом лице? У них с Глебом окна постоянно нараспашку, и комнаты в партере... Но о своей работе вообще и о Ричеле она говорила очень мало, да Глеб особенно и не интересовался...

— Должна я понять, что разговор будет серьезным, сэр?

— Пожалуй, что так.

Нет, в голосе не было ничего угрожающего. Спокойный, дружеский тон. На столике у камина коньяк и сигареты, даже шоколад — специально для нее, Ричель не ест сладкого. Значит, разноса не предвидится.

Лю облегченно вздохнула, уселась поудобнее, закурила и впросительно посмотрела на англичанина.

— Well, сэр?

— В вашем доме — медленно начал капитан, набивая трубку — живет некий мистер... Глеб Уолкоу.

Все таки, значит, Глеб. Ну, что же...

— Да, сэр.

— Вы с ним знакомы. Давно уже?

— Года два тому назад я познакомилась с ним в нашем городе. Мы встречались в течение нескольких месяцев, затем во время отступления и бегства потеряли друг друга из виду, и сейчас встретились снова.

— Вы его хорошо знаете?

— Да. — Лю остановилась и прибавила. — Очень хорошо. — И сразу же подумала, что лучше было бы не подчеркивать.

— Это слишком мало. Ваши отношения с мистером Уолкоу мне известны, но я попрошу вас подробно и точно рассказать историю вашего романа.

Ну, это уж чересчур! Лю вскочила.

— Мне кажется, сэр... она хотела сказать: «вы заходите слишком далеко», но невольно запнулась, перевела дыхание и гневно стряхивая пепел с сигареты, снова опустила в кресло.

— Простите, сэр, но я не понимаю, почему вас интересуют мои совершенно личные дела?

Капитан разлил по рюмкам коньяк и почти заботливо посмотрел на нее.

— Выпейте. Испанский коньяк, исключительный по качеству. Я бы мог вам сказать, конечно, что у моих ближайших сотрудников не существует таких «личных дел», о которых я не должен знать. Но я не люблю категорического императива. Расскажите мне вашу историю, и поверьте, что так будет лучше — для нас обоих.

Лю пожала плечами, но утихомирилась.

— Мистер Волков — не его настоящее имя, сэр, как у многих теперь. В действительности его зовут Глеб Зарецкий. Когда немцы заняли наш город, я поступила в театральный отдел, как уже рассказывала вам, и там работало много военнопленных. Он также. Я приносила им еду, папиросы, нескольких человек удалось перевести на курсы, а потом в армию. В том числе и Глеба. Он инженер по профессии, из хорошей семьи, и сохранил еще многое из старого — это выделяет его среди других. Мы познакомились ближе, заинтересовались друг другом, он стал бывать у нас... Я никогда раньше не думала, что способна так увлечься, чтобы потерять голову и быть готовой на все.

От медового запаха крепкого английского табаку синеватые струйки дыма кажутся особенно приятными, ласковыми, как

мечтательный взмах скользящих ресниц. Если бы можно было видеть мысли — вот именно такими они должны быть: напряженные кольца раздвигаются, свиваются в неожиданные арабески — причудливая и странная жизнь!

Но линии разглаживаются — все проходит, все должно пройти, скользящий тающий дым еще задерживается чуть-чуть, туманит воздух, неслышный и ласковый, как воспоминание... Капитан Ричель вытянул ноги, положил их на решетку камина, и курит сосредоточенно и спокойно, раздумывая над каждой затяжкой. Совсем высоко надо лбом, у лысины, кожа чуть морщится наплывающими складками. Светло-серые глаза внимательны, как всегда, только сегодня в них скользящее выражение — как будто и в них бродит и туманится этот струящийся дым. Или сожаление? А может быть, просто неудачный отблеск...

— Город был накануне падения — а я не замечала этого...

Лю смотрит прямо перед собой широко открытыми глазами: теперь она видит все, чего, казалось, не видела раньше. Но это только казалось — в такие минуты глаза запоминают наизусть.

— Осень в нашем городе особенно красива, сэр. После бомбардировки от пятисотлетней ратуши остался только фронтон, хрупкие арки и рыцарь, сторожащий площадь. Но среди развалин, в скверах флоксы, единственные цветы, которые пахнут осенью, удивительно нежный запах. Осенние листья на бульварах потрескивают под ногами, и дорожки лиловатые, как всегда, и белая колоннада виднеется из-за деревьев — как будто это не обломки сожженного театра, а прежний портал над прохладными плитами... И ветер с моря, и чуть покачивается рыбацья шхуна у розового парапета набережной — как будто не уходят уже последние пароходы, как будто не ждут их мины. Слухи проносятся по городу вперебой. Фронт подходит скачками. От асфальтированных улиц остались только выбоины, и по ним тянутся военные грузовики, и набитые соломой и узлами повозки беженцев. Рояли продаются за литр спирта, магазины закрыты, на деньги никто не обращает внимания, в жизни есть только главные ценности: золото, сало, папиросы, спирт. Паника бьется в улицах, как лихорадочный пульс — и надо всем этим прощальное осеннее солнце, сияющее небо!

«Любовь и тоска по родине делают людей поэтами» — думает Ричель, но это слишком избитая истина, ему хочется сказать чтонибудь более значительное. Глаза лэди Айви становятся совсем прозрачными, в них ломкая, звенящая пристальность — он любит такое выражение глаз.

«Как человек не гордился б силой, — от двух вещей уйти нельзя: Любовь — это первое, второе — могила, — и любовь,

в... Балтике — сразила меня» — говорит он вполголоса, перефразируя слегка Киплинга.

Лю прислушивается, кивает, благодарно улыбается и смахивает ресницами стеклянную неподвижность воспоминанья. Ричель очень вдумчивый слушатель — но его нельзя утомлять лирикой.

— Я наверно уехала бы последней, но за несколько дней до конца появился неожиданно мой муж. Я сразу же рассказала ему, в чем дело, приготовилась к бурной сцене, а получилось иначе. Он заявил, что убьет Глеба, как собаку, если тот попадет ему на глаза, но сейчас некогда заниматься пустяками — скорей укладываться, и на пароход. Помимо всякой опасности в городе, мол, развилась слишком нездоровая атмосфера. Очевидно, я тоже поддалась ей и заболела временным умопомешательством. Иначе он не может и не желает объяснить этого прискорбного «эпизода», и постарается забыть его, считать несостоявшимся, а я, разумеется, выздоровлю и потом буду удивляться самой себе.

Капитан улыбнулся.

— Мужчина, любящий женщину, простит ей роман с другим в прошлом, объясняя его глубоким чувством, но роман в настоящем может простить только если это, по его мнению, эпизод. Что же случилось дальше?

— Остальное было каким то сумасшедшим кавардаком. Разгромленная квартира, морской переход под налетами, переезды из города в город, клинья фронта, перерезающие путь... Я едва успела повидаться с Глебом — он тоже уезжал с остальными служащими. Муж должен был вернуться в свою часть. Я очутилась наконец в какой то деревушке, больная, дождалась конца войны — и когда отправилась дальше, то встретилась с вами, а теперь — с Глебом.

У Лю дрогнул голос, хотя она и старалась потушить глаза. Капитан медленно сложил, по привычке, кончики пальцев. Они укладывались плотно и ровно, один на другой.

— Well, теперь я вижу все совершенно ясно. Вы предполагаете разыскать вашего супруга и снова объяснить ему, что он все таки ошибался, считая это эпизодом... не так ли?

— Я люблю Глеба больше всего на свете, сэр.

— Больше... вашего Гамаюна, «лэди Айви?»

— Простите...! — изумилась она.

— Ваша работа над Гамаюном — видите, я даже выучил такое трудное имя, но оно мне понравилось! — представляется мне главной целью, смыслом вашей жизни. Может быть, поэтому я и заставил вас сегодня рассказать все — с другим человеком это было бы излишне. Ответ на мой вопрос вы дадите потом —

только помните, что я вам его задал. А теперь я должен вмешаться в вашу личную жизнь, «лэди Айви». Мне очень жаль...

Обычное английское «мне очень жаль» звучало официально и холодно. Лю изумленно подняла брови.

— Мне очень жаль, — быстро повторил Ричель, — но я не могу допустить, чтобы моя переводчица находилась в интимной связи с мистером Глебб Уолкоу-Зарецки, агентом-осведомителем одной иностранной державы. Прошу вас сидеть спокойно, «лэди Айви». Повторяю — мне очень жаль, но по имеющимся у меня — и неопровержимым сведениям — мистер Уолкоу, находясь в мае этого года в Чехии, и будучи застигнут врасплох — а может быть и нет — приходом советских войск, составил для советской комендатуры список с именами и адресами всех интересовавших их лиц, живших в Карлсбаде. Сорок два человека. Не так много, конечно, но... После этого он был отпущен, переброшен через границу и поселился здесь. Время от времени он встречается с низколобыми парнями из лагерей — с одной, и военными представителями — с другой стороны. Официально я не могу возразить против его деятельности. Судя по некоторым признакам, он не был чужд ее и у себя на родине. Во всяком случае, ваши дальнейшие отношения с ним должны прекратиться — если, конечно, вы не выберете другой путь. Выбор, между прочим, свободен, «лэди Айви».

Ричель разжал кончики пальцев: они побелели слегка. Закурил снова и уже не вскользь, а прямо посмотрел на знакомую фигуру, неподвижно сидевшую в кресле. Холодная официальность бьющего на дисциплинированность и выдержку тона совершенно необходима для сложной психологической операции. Пока что она держится неплохо.

Судорога внезапного испуга, удара по голове. Сейчас она усердно натягивает на себя маску спокойствия во что бы ни стало: закинула ногу на ногу — чтобы не так дрожали колени, разгладила напряженность лица любезной полуулыбкой — bravo, «лэди Айви!» — закуривает сигарету — сердце переходит на нормальный пульс.

У сигареты был почему то неприятный, сахаринный привкус. Очевидно, пересохло во рту. Лю подумала, что может быть лучше было бы крикнуть, заплакать, сорваться на дерзости — не поверить. Но разве она верит?

Нет, все эти выходки — дешевка. Да ей и не хочется вовсе кричать. Только усталость, оцепенение какое то. «Неопровержимые сведения». Интеллидженс Сервис не ошибается, совершенно не стоит задавать робких вопросов, капитан посмотрит на нее с обидным сожалением, и только. Сорок два человека «не так уж много?»

Кира выдала больше... Кира! Пугающий провал в кровавое месиво пыточных подвалов. Мертвые глаза живых — еще — людей, смотрящие глаза — трупов...

«Нас — предали».

Глеб!! — кричит что то внутри. Глеб! Ты?

«Лютик, солнечный мой, солнышко»... Глаза любимые, такие сияющие навстречу, такие ласковые нежащие руки... ты, Глеб? Может быть все таки — роковая ошибка? Посмотреть ему в глаза, спросить в упор. Он должен сказать правду. А если скажет, то... может быть, его заставили, ослаб, сам не выдержал пытки... Почему же она должна судить? «Мне отмщение и Аз воздам...» разве она — судья?

«Что же вы сделали?» — спросил Ими-сан, спрятав руки подмышки, — и прошла минута, вторая, — а она молчала и краснела перед сужающимися, полузакрытыми глазами и презрительной японской улыбкой.

Лю кажется, что надо заполнить чем то затянувшуюся паузу, она улыбается, берет рюмку, протянутую капитаном. Ричель удивленно отмечает и улыбку, и то, что она не отпивает, как обычно, глоток, а пьет машинально все — дьявольски крепкий коньяк! Но это не повредит ей. Интересно все таки, как она поступит. Мистер Уолкоу — капитан отчетливо припоминает фотографию, лежащую у него в столе — довольно красив, во всяком случае может произвести впечатление, в особенности на романтическую натуру. Она не первой молодости — тем хуже. До тридцати лет женщина охотно верит, что неудачная любовь — последнее чувство в ее жизни. Считает так, потому что подсознательно надеется, что это иначе. А после — она уже не думает, а знает...

Любовь мешает работе — но следить за неожиданными скачками ее ходов любопытно все таки. Пока, например, он уверен, что у этой женщины найдется достаточно силы — и верности своим убеждениям, — чтобы отказаться от любимого человека — или возненавидеть его.

А может быть она возненавидит именно его, Ричеля, за разрушенную иллюзию? А если славянская пассивность и покорность победят, и она уйдет...

— Как бы то ни было — говорит он вслух — давайте выпьем за нашу встречу в этом городе. Через несколько дней я переезжаю. «Смена декораций» — как вы любите говорить.

Это не новость, он предупреждал уже заранее, она только что придумывала всякие комбинации, чтобы устроить Глеба в другой город, вместе с ними. Все затруднения распутываются в конце концов очень просто. В этом уютном особняке поселятся другие английские офицеры, а в ее комнате — тоже. «Глупое бедное счастье с белыми окнами в сад!»

Или она останется в ней... Да, а почему бы и нет? Свободный выбор. Зажмуриться — и не помнить этого разговора, не знать ничего. Пусть он предатель — но ведь он ее, неразрывно, они слились вместе, каждым кусочком. Она может удержать, она должна помочь загладить его вину... Сорок два человека не так уж много, конечно. Да может быть сорок два миллиона погибли за эти годы!

У Ричеля глаза, как у настоящего удава — Каа. Как будто она думает вслух — или он видит ее мысли? Неприятно только это ощущение физической неуклюжести и расползающихся, извивающихся, как червяки, мысли. Может быть — смалодушествовать, струсить — просидеть вот в этом кресле хоть до утра — и послать Паркинса утром за своими вещами? Короткая записка: «Я все знаю, прощай». Гордо принять решение и через полчаса побежать самой, тяжело дыша, — виновато улыбаться перед недоумевающим взглядом — объяснять, умолять, сказать правду?

Но — какую же правду? Ту, которую она знает? Какая же другая может еще быть?

— Я думаю, что уже поздно, сэр, — говорит она неожиданно и поднимается с кресла. Рюмка остается недопитой, она забыла о ней. Скорее домой, прежде всего надо увидеть Глеба. А может быть сказаться больной на эти несколько дней, которые остались еще до переезда, не отходить от него ни на шаг, испуленно выпить последнюю, обреченную близость, и потом оборвать, или совсем уйти — самой — совсем...?

Ричель медленно провожает ее до дверей в холль. Сегодня он почему то останавливается на пороге и не идет до выходных дверей, как всегда. Тонкость обращения, вежливый шаг назад — или ему просто надоело возиться?

Лю быстро проходит через полуосвященный холль, на секунду задерживается перед трюмо, чтобы надеть шляпу. Смотрит на бледное лицо, вымученную улыбку и растерянные глаза. Вот так выглядит женщина, которая...

Притягивающе жутко смотреть в отражение собственных глаз. Весь человек в неумолимом стекле. Что она сделала в своей жизни, — вот этот человек напротив? Тосковала, любила, грешила...

Ровное стекло разглаживает мысли. Лю еще не знает, как поступить, но внутри растет спокойная уверенность в своей правоте. И небо такое же синее над вечерними улицами, и звезды такие же, как всегда — и еще выше над ними — всевидящий и всезнающий Бог. Во всем необозримом величии океана вселенной, и вот в этой ветке, задевающей на ходу вечерней свежестью.

«Я знаю, что ты видишь, Господи, — молится Лю, и шаги ее уверенны и легки. — Ты знаешь, Господи».

Мысли раздвоены еще: вторая, колеблющаяся половинка ежидно подсказывает, что не следовало бы путать Бога в эту комедию перед зеркалом — но Лю стряхивает ее с себя, как паука. Вот теперь она действительно спокойна и видит все так четко — синий вечер, темные воронки на площади, и фигуру Глеба в освещенном окне.

Ричель проходит через холль и поднимается по лестнице в свою спальню. На секунду задерживается взглядом на высоком зеркале трюмо. Кажется, он хотел припомнить что то — какое то движение «лэди Айви» — но он немного рассеян сегодня, и не совсем точно помнит, что именно ему показалось...

Капитан Ричель проходит наверх, и зеркало гаснет.

* * *

— Так поздно, Лютик? Только что собирался тебя ревновать.

Глеб раскрывает руки и сразу же опускает их. Это не сияющий и нежный Лютик. Что то случилось. Он сбрасывает с нее пальто и хочет взять из рук сумочку, но она вздрагивает и прижимает ее к себе.

— В чем дело, Лютик? Неприятности?

— Как сказать... просто серьезный разговор, Глеб.

— Ну что ж, поговорим. Ужин откладывается.

Глеб вопросительно смотрит на нее и усаживается в кресло напротив. Их колени касаются, одной рукой она все еще держит сумку. Глеб берет ее свободную руку в свои и поглаживает, как всегда, когда хочет успокоить.

«Смена декораций» — думает она, чувствуя себя немного сэром Джемсом. Роли переменялись, и ей даже кажется, что она видит перед собой не одного Глеба, а и себя самое тоже, сидящей у него на коленях. Эта раздвоенность дает необычайную четкость.

— Я хочу знать правду, Глеб.

— Разве я когданибудь лгал тебе?

Глеб снисходительно улыбается. Извечный женский вопрос. Может быть, она узнала об истории с Катюшей в Карлсбаде? Так что же тут такого? Он не знал... ироническая улыбка — лучшее средство защиты.

— ...и хочу слышать прямой ответ, — упорно доканчивает Лю, мягко щелкая замочком от сумочки. (Раз — надавить на ребро пальцем, два — отогнуть — вправо или влево? Как это будет — от себя? Какие глупости, Боже мой...)

— В мае этого года ты был арестован в Карлсбаде. И — выпущен, после того, как дал список сорока двух человек, находившихся в городе. Так это, Глеб?

Он выпускает ее руку, закуривает, затягивается, не спеша. Та же полуулыбка на губах, и так же, как она, смотрит на нее в упор: Лю беспомощно холодеет от сразу чужих и жестких глаз.

— Мне говорили, что этот слух распространился по городу сразу после моего бегства сюда, но ктонибудь, значит, занес и дальше... Если ты меня так мало знаешь, то... веришь, конечно?

Он пожимает плечами.

Лю устало качает головой и улыбается печально и безнадежно. Ричель не представил ей никаких доказательств. «Неопровержимые сведения»...

— Интеллидженс Сервис вряд ли ошибается, Глеб.

— Ах вот как — тянет он, и сосредоточенно зажимает уголком губ сигарету. — Твой английский капитан... Значит, это правда, что ты...

Он досадливо прикусывает сигарету, спохватившись, но уже поздно.

— Значит, это правда, — эхом отзывается Лю.

Очень трудно дышать — надо медленно перевести дыхание — вот так, закурить... Глеб предугадывает ее движение, протягивает ей пачку, — и машинально вытягивая плотно слежавшуюся трубочку, отдирая ее от остальных, Лю вспоминает вдруг, сколько раз она проделывала это движение, досадуя на крошившийся табак и благодарно улыбаясь терпеливо дожидавшемуся Глебу, и так же внезапно становится ясно, что так не может быть, никогда больше не будет, никогда, никогда...

— Мне очень нравится, что ты внешне не истеричка, — говорит он так неожиданно, что она даже усмехается слегка.

— Только внешне, Глеб?

— Потому что ты, конечно, очень экзальтированная натура. Лю тщательно раскуривает сигарету.

— Что же дальше, Глеб?

— Раз ты начала разговор, — сухо цедит он сквозь зубы — то я жду твоего предложения: мир или война.

— То есть как?

Этого она не ожидала, и он сразу чувствует свое превосходство.

— Мы находимся в разных лагерях, неправда ли? Враждебный нейтралитет — один из современных парадоксов. Можем продолжать работать каждый для себя, не мешая друг другу. Можем — работать вместе. Ты со мной — или я с тобой. Можем — разойтись, как враги. Если ты на это способна, Лютик.

Имя падает, как лепесток цветка — так он произносит его когда целует, и это не игра. Глеб откидывает со лба упавшую прядь и распрямляет грудь. Чорт бы побрал проклятый Интеллидженс Сервис! Так было хорошо вместе, и вдруг... Работе ее он, по правде сказать, придавал мало значения. Хорошая переводчица — и только. Остальное — игра в таинственность и романтизм. Вот и сейчас эти скорбные черточки на лице — бедный Лютик, она искренне мучается, наверно. Пожила бы у них — привыкла не к тому еще...

Но именно эта старорежимность и нравится в ней. С одной стороны энергична, умеет приспособиться, талантлива, а начнет говорить — прошлое столетие... Устои, принципы, честь... Красивая все таки это вещь: идеалы, и право не знаешь, стоит ли жалеть тех, кто еще не сумел — или не хочет — думать иначе. Пусть забавляются... Иногда приятно посмотреть на таких людей, но нельзя им чересчур доверять конечно: никогда неизвестно, из-за чего у них произойдет очередной заскок...

«Лютик» — слышит Лю поцелуйный шопот. Он собирается в горячий комок у самого сердца — вот на этом кусочке кожи, который он так любит целовать. Кажется, что кружится голова, и она цепляется за сигарету — Боже мой, неужели она настолько слаба, неужели одним поцелуем можно найти общий язык с человеком, который думает... — Лю сжимает зубы, чтобы не застонать, но находит нужное определение: по чекистски.

«Только» — слышится голос Ричеля. «Но в этом только — все, лэди Айви».

Только.

Она смело поднимает глаза.

— Это все, Глеб?

— На сегодня, пожалуй, довольно, Лютик. А что ты еще тела мне предложить?

— Застрелиться, — так же небрежно, в тон, отвечает Лю, хотя ответ уже ясен. Только последняя попытка, проверка, жестокая цепкость надежды, несмотря ни на что.

Глеб изумленно приподнимается, держась обеими руками за локотники кресла, вскакивает, проходится по комнате. Скажи это ктонибудь другой — можно было бы выругаться или рассмеяться. Сидит вот с несчастным видом и изрекает трагические слова. Мало того: верит в них. Катюша сказала бы проще...

— Лютик, — говорит он, останавливаясь и смягчая голос — оправдываться я не буду. Этот проклятый список не дает тебе покоя. Понимаю. А ты думаешь, мне было приятно называть имена и давать адреса? Некоторых я хорошо знал... Но разве был другой выход? Во-первых, я не мог отказать. У нас в институте, и когда я еще в комсомоле был... выбор был тоже

невелик: или стать одним из большинства, так называемым беспартийным, и быть человеком второго сорта, постоянно, при случае, на подозрении, без особых возможностей продвижения... Или примкнуть к меньшинству — к тем людям, которые делают жизнь, выходят в люди, занимают места... У вас есть такие громкие слова: «бессловесное стадо» и «правлящая клика». Но ведь это так, это жизнь, и могу сказать откровенно: лучше быть в правящей клике, чем бессловесной скотинкой. Но, скажем, это было там. А здесь был другой выход? Разве мы виноваты, что так получилось, что наша карта была бита? Честное слово, я был уверен, что история с Власовым — это начало будущего. И я примкнул, хотя... хотя, конечно, мне сразу же предложили работать для них тоже. Но, собственно, почти и не пришлось. А союзники обманули нас всех. Выходит, значит, что они сильнее. Ну, а кто сильнее, у того и спрашивать нечего, прав ли он, или нет. Жизнь одна, и ее тебе надо прожить. Так вот, этот список. Предположим, я бы отказался. Хорошо, список был бы составлен кемнибудь другим, и в нем было бы уже не сорок два человека, а пятьдесят восемь. Сорок третьим, во всяком случае, был бы я. Милый Лютик, может быть вы раньше в Европах и Америках могли думать и делать, что вы хотели. Но когда советские войска заняли Балтику, ты тоже пережила крушение своих интеллигентских иллюзий, ты сама убедилась, что у нас существует только один закон: обреченность. А все остальное — случай. Но случаев нельзя упускать. В этом секрет нашей изворотливости. С вашей точки зрения мы циники и подлецы. А нам смешно, когда вы говорите красивые старые слова и верите им, как дети. Даже больше: верите нам, если мы подпеваем вам в тон. Нет, если ты хочешь жить с открытыми глазами — то не верь ни мне, ни другим таким же, как я. Многие и у нас, может быть, думают иначе, но таких, как я, тоже много, и мы все таки всегда были на руководящих постах, а это главное. Ты мне нравишься — я тебя, конечно, люблю. Может быть, даже больше, чем Катюшу или другую там — но это во всяком случае не трагедия и не драма. Из-за чего? Пойми, что нужно проще относиться ко всему в жизни — только тогда ты выживешь. Мы, то есть думающие так, как я, доказали свою правоту именно тем, что выжили, а кто думал иначе — давно гниют. Мы давно переоценили все ценности, теперь очередь за вами. Повторяю, я не хочу оправдываться, просто объясняю тебе. Вот Иван Павленков в лагере, которого ты кажется тоже знаешь, — это совсем другой тип. Он собирается улизнуть за океан, а на случай, если не удастся, так по собственному почину составил уже списочек неугодных людей и подал, куда следует, это любитель. Я в сущности, был вынужден это сделать, по службе так сказать. И только и всего.

Глеб говорит жестко и убедительно. Нет, он не виноват, его сделали таким, как и многих других. Сорок два сейчас — а раньше были и другие? — не так уж много, конечно. А может быть, и больше...

— Лютик! — позвал он, остановившись в поворот к окну.

Лютик — маленький желтый цветок, простой, полевой... Очень трудно найти собственные ноги — кажется, их нет совсем. А мысли простые и ясные, текут, как река. Только это последнее, осталось еще. Только.

Лю спокойно и устало раскрыла сумочку, встала и шагнула вперед.

— Ну что ж, Глеб...

* * *

«Очень ярко накрашенные губы — это флаг отчаяния» — подумал Ричель, когда Лю вошла на следующее утро в его кабинет.

— Доброе утро, сэр.

Она подошла к столу и положила на бумаги перед капитаном маленький браунинг. Ричель невольно подался вперед — вот это ускользнуло от него вчера перед зеркалом, в холле! Его фуражка, ремень с кобурой, и на одну секунду только показалось, что... Он не успел вчера понять ее движения.

— Я взяла вчера ваш револьвер, сэр, — ровно объяснила Лю, не поднимая глаз. — На всякий случай. Он мне понадобился ночью. Это произошло в моей комнате, повидимому, никто не слышал выстрела. В висок, сразу. Что мне делать дальше — не знаю. Это все, сэр.

Она подняла глаза и посмотрела ему прямо в лицо. Ричель медленно поднялся, обошел стол.

— Лэди Айви...

Усталая четкость мысли подсказала ей, что он впервые приносит это «лэди» безо всяких кавычек. Лю кивнула.

— Не беспокойтесь обо мне, сэр. Должна подтвердить: мой муж был прав. Это только... эпизод.

— И первая ложь, которую я слышу от вас. Но мне хотелось бы предпочесть на этот раз ложь — правде.

Сэр Джемс Ричель наклонился еще ниже и поцеловал ее руку.

ДЕВУШКЕ ПРОШЕДШЕЙ...

Милый друг!

Не знаю, стал ли бы я отвечать тебе на письмо, если бы не две случайных встречи: с бабочкой и с девушкой. Впрочем, девушка встретила раньше. Потому что — знаешь, как это бывает, когда вдруг получаешь письмо от старого товарища: когда то вместе сидели на школьной скамье, мечтали, спорили. Потом разбросала жизнь, и вот, из тридцати — или сорокалетнего далека? — голос, и не можешь отделаться от не совсем, признаюсь, приятного чувства, что это не только золотое детство, незабвенная юность, и как там еще говорят романисты, — а голос собственной совести, что ли. Как ответишь — что ты сделал из собственной жизни? Не наша, конечно, вина, что не удалось то, о чем мечталось: почти не наша, потому что в моем случае — а сколько таких — не прыгнешь же выше головы, но не только одни обстоятельства виноваты, на которые мы так охотно сваливаем все... И не потому, что, вот мол, чего он только не достиг, а ты...

Но ты пишешь сам: сперва работал на фабрике, потом открыл свое предприятие, прогорел, начал снова, и тогда пошло. Женился без большой любви, по языку и национальности чужие, но стерпелись, двое детей тоже вроде как не свои, старший сын кончает университет, дочка замужем, уже первый ребенок...

Иногда я думал, почему столько людей производит столько детей, зачатых без любви, без желания, от чужого в сущности человека, и разводит часто не себе подобных даже, а просто двуногих каких то, тупо повторяющих то же самое. Ничего не скажу против родительской любви, но ведь этот инстинкт есть и у всех животных. Неужели человек ничем от них не отличается? Для сохранения вида? Тоже ерунда. Природа заботится о равновесии, а мы его только нарушили, земля давно перенаселена... но это не на тему, а так, в скобках.

Тема же вкратце: ищешь самому себе оправдание и смысл.

Итак, у тебя итог тоже не из блестящих. Раньше ты увлекался собиранием марок и постройкой радио-аппаратов. Тогда они только что появились: помнишь, как ты в первый раз поставил на дощечке каких то обмоток проволоки, и долго тыкал иголкой в кусочек голубоватого не то камня, не то металла? А бабушка, не расслышав, повернула наушники, и крикнула в них, как в телефонную трубку, чтобы повторили громче?

Теперь продаешь другие аппараты — легкие, точные, простые на вид. Наша с тобой молодость была радио-эпохой, а теперь телевидение и атом. Мальчишкам стало труднее мастерить... Ты всегда был таким скромным, тихим, прилежным, приглаживал водой свой хохол, чтобы не торчал. Славный ты был мальчуган, Костя, и большой мой друг. Не скрою теперь, что относился к тебе так милостиво-покровительственно потому, что мне всегда льстило твое восхищение моими талантами. Но, конечно, признаться в этом я не мог...

А чем было восхищаться, собственно? Тем, что я немного рисовал, читал умные книжки, и восторженно вел серьезные разговоры? Вексель на будущее. Но под гарантию прошлого, как ты знаешь, денег не дают, да и под залог будущего тоже не стоит. Потом мы это видим, а в молодости верим без оглядки. Не только воздушные замки строим, но и живем в них...

Вот, в эту твою память — и девушки, прошедшей, как Сахарет, — и пишу сейчас, и еще эта бабочка, а так не стоило бы, говорю честно. Но получается непонятно, потому что «Сахарет» — это женское имя, или фамилия, и его нельзя склонять. Меня поразило звучание его, экзотика, и лицо. Я ее никогда не видел: Сахарет была знаменитой танцовщицей в дни молодости наших родителей, и гремела на всех сценах. Мне о ней рассказала мама, когда попался случайно журнал, кажется, старая «Нива». Там был ее портрет: помнишь, эти старые наивные рисунки — линии, точки, решеточки теней, заменявшие наши клише в журналах? Жгучая и вместе с тем мягкая южная красота: полукруглые брови, сочные губы, мягко выгоченный нос, громадные глаза, — мама говорила, ярко синие. А над прекрасным лбом короткая ниточка пробора посередине, и пышные локоны вороньим гнездом, и на макушке подняты коронкой. Похоже на тридцатые годы прошлого столетия, только без буклей. Теперь такие тоже стали опять носить...

Кастаньеты, говорила еще мама, брильянты, овалы... Она так восхищалась, что я решил сделать ей сюрприз — портрет маслом по этому рисунку, и долго мазал его, пока подарил на именины. Глаза получились действительно яркие, а растрепанные локоны лучше всего. Но почему то — и это меня мучило

недели две, по крайней мере — живая красавица вышла у меня жесткой, деревянно-прямой и чуть-чуть кривоватой.

Я всегда вспоминаю именно об этом рисунке, когда смотрю на портреты современных художников. Налепить кривульку с глазом подмышкой конечно легче, чем создать образ. Я хоть пытался. Не смог просто по художественной безграмотности и бездарности, несмотря на твое восхищение, и чувствовал это. Но когда мать сказала мне, что лучше было бы скопировать точно, через переводную бумагу — я страшно обиделся. Только маляры делают это! Это теперь мне кажется, что лучше хорошая копия, чем безграмотный оригинал, а тогда...

Неделю тому назад шел по самой бойкой площади города. Напротив, через островки фонтанов, клумб, трамвайных остановок в пестрых гусеницах машин — очень резко бросающиеся в глаза именно своей бесцветностью при солнечном свете тусклые буквы реклам, как пропелшины на домах. Вечером они ярмарочной радугой на стене, а днем лучше посмотреть на старое, почтенное здание суда с голубоватым куполом и лепными фигурами фронтона. Около него газон с зеленой травой, и растет большой куст сирени. Первая сирень, которая расцветает в городе — защищена со всех сторон. Запах с трудом просачивается сквозь бензинную вонь, но сочетание зеленого, лилового и коричневатой стены так красиво, по настоящему хорошо. Я с этим кустом каждую весну здороваюсь...

И вдруг идет навстречу она. Высокая, не фигура, а музыка, в янтарного цвета платье. Прическа, лицо, губы... и такие же глазищи, только темно-карие. Сахарет! Чуть не вскрикнул, остановился даже, будто запнулся на тротуаре. Смотрит прямо перед собой, улыбается просто так, ничему, своим двадцати годам, солнцу, или тому, кто наверно ждет.

Нет, милый друг. Я тоже подумал все то, что и сейчас у тебя наверно мелькнуло в голове. И сразу же улыбнулся.

Ты пишешь: «... помню жест, которым ты всегда откидывал со лба львиную гриву...»

Начнем с того, что мне больше не так то уж много осталось откидывать, милый Костя. Ты пишешь смиренно, что у тебя лысина и брюшко. У меня правда нет ни того, ни другого, но тот вид, когда «восторженная речь и кудри юные до плеч» исчез тоже. Посмотрел на себя со стороны: идет красавица, и вдруг подойдет к ней пожилой человек с серыми мешками под глазами, костюм серый в крапинку, и глаза тоже серые, и не только от цвета, и скажет... ну что же он может сказать? Что она похожа на красавицу, портретом которой он увлекался в детстве? Хорошо, любая красавица охотно выслушает комплимент, а дальше? Пригласить в кафе? А вдруг согласится — и притом слишком быстро? Что в таком случае хуже: молчание или ответ?

Нет, Костя, мне не двадцать лет. Встреть я ее тогда у нас на улице — загорелся бы, наговорил с три короба, половину этого сиреневого куста оборвал бы ей — к желтому платью — аккорд! — и при любом скандале чувствовал бы себя героем.

Да, но как сказано выше... а думал о ней не целый день даже, а неделю подряд. О той Сахарет. И твое письмо — отблеск тех дней — тоже совпало с этим, потому и откликнулся. Еще из-за бабочки, но об этом потом. Сперва еще об одной картинке, о времени, связанном с тобой, обо мне прежнем, каким я остался в памяти только у тебя, Костя. Даже сам с трудом представляю себя этим прежним — а больше — кому же? Две мировых войны, несколько гражданских, парочка революций — что же остается у человека? Невелик багаж. Ручной чемоданчик и душевный сундук. Чемоданчик в руках, а сундук за плечами, и чем больше в нем собрано, тем тяжелей. Все мы — скупые рыцари, любимся своим богатством, бесполезным, как золото в подвалах — только не открыть их.

Нашу Эспланаду я не слишком любил. Возмущала чинность скамеек, разграфленность клумб. Цветы, как на проволоке выращены, боятся пошевелиться, чтобы не нарушить равнения. Нет, я забирался обычно в круговую аллею вокруг Марсова поля, по которой скакали всадницы с кавалерами, и деревья там переплетались сводом. Там, на задах этих чинных скамеек, кусты росли как попало, и под ними простая трава. Еще тогда я понял, разглядывая какую-нибудь кашку или львиную пасть, какая гармония и красота в простоте, стоит только приглядеться к тем мелочам, которых не замечаешь обычно.

Аллея подходила к памятнику, от которого остался только цоколь — прежнего героя сняли, а заменить было нечем. Розовый гранит, и такие же широкие скамейки вокруг, широкие, как кровать. Вот на них, полулежа с книгой, почитать и подумывать, куда пойти рисовать — блок с карандашами всегда с собой, конечно. Помню, в пыльный, желтый день сидел так и мучился. Книжка была небольшая — популярное изложение теории относительности. Тогда она только что потрясла мир, и не знать о ней было бы ниже моего достоинства. Стал бы я теперь читать ее? Сомневаюсь.

На скамейку рядом со мной села дама. Помолчала, потом заговорила, как с равным себе: приветливо и серьезно. Что читаю, и вообще. Даже бровей не приподняла, перелистывая шелковыми пальцами перчаток страницы Эйнштейна. На одной остановилась и спросила:

— Как вы понимаете это?

Не помню уж, что, только сбился, запутавшись сразу, даже покраснел. А она, как по писанному, легко и свободно, с цита-

тами на трех языках, даже по латыни, объяснила мне так, что любому автору завидно бы стало. Заметила вскользь, что ей часто приходится разговаривать с профессорами, они тоже спорят и путаются иногда... Высокая седая старуха, в белой кружевной наkolке и сиреневом платье, настоящая дама!

Потом обратила внимание на блокнот. Ну, тут уж я почувствовал себя иначе! Сразу сравнил два этюда, только что виденных в окне антикварного магазина — Репина и Катарбинского, рассказал, что рисую уголки старого города... Поднялась, предложила пойти с нею вместе. Как насчет Алексеевского монастыря? Она живет рядом, потом могу зайти к ней выпить чаю и показать рисунок.

Как был я горд! Всю дорогу занимал ее светским разговором знатока. Почтительно позволял себе не соглашаться, «освещал» с другой точки зрения, и говорил, говорил... она слушала. Когда пришли, подняла зонтик, показала мне кончиком его на чистоту линий прелестной этой крохотной церковки, потом на подъезд своего дома.

Этого рисунка тоже не мог потом долго забыть. Часа два старательно срисовывал все углы, завитушки. О гармонии говорить хорошо, но с прямыми линиями у меня всегда была война!

Потом пошел к ней. Полутемные громадные окна, пахнущее столетиями дерево, вышитая английской гладью чайная скатерть, дорогой фарфор и несколько пожилых гостей. Она взяла измазанный резинкой лист, посмотреть рисунок, и через минуту сказала:

— Я бы советовала вам пойти на архитектурный факультет. В ваших линиях есть теория относительности...

Я почувствовал, что здесь что то не так, — но что именно, понял позднее. Когда получил через несколько дней конверт по почте (она спросила мое имя и адрес) — и в нем, между двумя листами картона лежал набросок — того же монастыря. Зеленый карандаш и сепия. Несколько штрихов — там, где я выводил бесчисленное количество линий, и несколько мазков там, где я смешивал дюжину красок... и рисунок жил.

Теперь о бабочке. Она была желтой и сидела на паровозе. Но это объяснение никуда не годится. А если я скажу тебе, что это был и не паровоз, и не бабочка вовсе, то ты поймешь еще меньше. Телеграфный стиль годится для изречений великих людей. Нам приходится тратить гораздо больше слов, чтобы объяснить гораздо меньшие истины.

Я еще не отделался от мысли о Сахарет, смотря в окно — а я часто делаю это во время работы. Да, у меня есть прекрасная служба, которой могут позавидовать многие. Громадный светлый дом, сотни служащих. Художественный концерт. Пред-

примчивой компании пришло в голову, что много выдумки пропадает зря. Рисуют, например, текстильщики (так тоже называют некоторых художников, дорогой друг!) — рисунки для материй и вонючих пластиковых скатертей. Так почему же те же рисунки не использовать с немалым успехом для обоев, политических плакатов, театральных афиш и керамики? Или наоборот? Иногда и без всяких изменений. А на перерисовке зарабатывают и художники, и концерн. Товар, то-есть рисунки, пускается в оборот еще раз, или десять, а покупатели привыкают видеть какую-нибудь сверхневероятную виселицу или нечеловеческий вид повсюду — от зубной пасты до... до обалдения. Так что довольны все.

Вот в таком перерабатывающем искусстве концерне я и служу уже десять лет. Платят прилично, работа по специальности — кисти и краски. Конечно, не легко, потому что большинство здесь — исключительные знатоки. Не скажут просто: «завиток», а начнут рассуждать о барокко или готических стрелах, или оттенке древних инков. Тебе это покажется смешным — как и мне в первый раз, но когда в тысячный — то просто скучно. Впрочем, мне стали избегать читать лекции: я как то спросил этих мастеров перефразировки простейших вещей, почему они так тонко разбираются в искусстве только в нашем концерне? Некоторые перестали после этого разговаривать — но, разумеется, не критиковать.

Не считай меня фарисеем, пожалуйста. Конечно, я стараюсь работать по настоящему в свободное время. Но «теория относительности» в моих линиях осталась попрежнему. Работа всей моей жизни дала очень малые результаты — вот в чем дело, Костя, мой милый наивный поклонник юношеской мазни и трескучих мечтаний о будущем...

Недавно слушал по радио диспут с учениками последнего класса гимназии. Какие у них планы на будущее? Говорило человек пятнадцать, по разному, конечно: откровенный цинизм, неопределенная мятежность, пламенная убежденность, благо-разумная проторенность дорожки — все, как и раньше бывало. Теперь только больше цинизма и меньше уверенности, чем у нас. Но после заключительных слов лектора, обычного шаблона: «у вас все впереди» я ахнул вдруг от внезапной ясности. Я то ведь до сих пор надеялся, что как то вот настанет время, и я начну писать действительно настоящие картины... как будто времени у меня, простых человеческих лет еще достаточно для того, чтобы строить планы и надеяться, что я вырасту!

Один мой знакомый поэт жаловался, что у него нет комнаты с пианино и мягкой мебелью — тогда бы он стал вторым Гумилевым. Поэты жалуются всегда, конечно, — если нет ничего

другого, то на беспочвенность, оторванность от родных корней. Я отношусь к ним с уважением, как к совершенно бесполезным людям. Бьются, чтобы доказать существование души. Кому? Ее не имеющим. Польза, следовательно, сводится к нулю.

До некоторой степени мне хотелось бы и себя причислить к ним. Но мои картинки — не мастерство. А главное — они все о пустяках, в которых я вижу смысл, потому что есть много больших, но пустых вещей, а дать и большое, и со смыслом — это часто значит создать такое великое, что мне просто недоступно. Не все же — гении.

Видишь ли, человеку может быть совершенно достаточно решить за свою жизнь хоть одну серьезную проблему, но правильно. В моей жизни две серьезнее всех остальных. Одну ты наверно не поймешь вовсе. Не сердись. Прими это не как давно взрослый человек с брюшком и внуками, а как прежний вихрастый Костя, доверчиво смотревший на меня круглыми глазами, когда я объяснял тебе тайны Конфуция или краски старых мастеров. Я уверен по твоему письму, что ты остался в сущности таким же: рядовым слушателем, зрителем, и в глубине души глубоко уважаешь всех, кто может сделать что то выше среднего уровня. И, конечно, совсем не задумываешься, что у этих людей тоже есть свои уровни. Ты читал отчеты о моих выставках, видел репродукции картин, и искренно считаешь меня талантливым, «известным художником». А дальше восторга рядового зрителя твоя проникательность не идет.

Постараюсь объяснить на двух примерах. Есть такая притча: ребенок — Христос играет с таким же ребенком — Иудой и оба стали лепить из глины птичек. У Иуды они получались кривыми культияками, у Христа — прелестными фигурками. К тому же Христос обмакнул их в лужу, блестящую радугой после дождя, и они засверкали, как драгоценные камни. Увидев это, Иуда пришел в ярость и бросился топтать их ногами, а Христос, испугавшись за них, захлопал в ладоши — и птички ожили и улетели.

Есть и такая сказка: одному художнику всю жизнь хотелось создать замечательную вазу, на которой были бы все цвета радуги в еще непревзойденном совершенстве. Он и работал над ней всю жизнь. Не было такого оттенка, которой он не изобразил бы на ней. Но их было слишком много, и ему пришла в голову мысль провести между ними тонкую черную линию, чтобы разграничить. Конечно, краски от этого только выиграли. В восторге, он сделал рамку шире. Стало еще лучше. Так, все больше и больше покрывал он вазу черной краской — и когда она стала абсолютно черной, то воскликнул: «какая красота!» — и ослеп.

В притче о детях второй ребенок может быть напрасно назван Иудой — разве что за ярость против божественного совершенства. Дело в нашем бессилии. В сказке — смысл смерти, протягивающей тонкие тени на наши души, отчего их краски проступают ярче, стирается лишнее. Потом тени становятся гуще, — и поглощают земную красоту незримым миром.

Может быть, тебе понятнее будет тот «потолок», о котором говорят летчики? Граница, до которой может подняться машина? Такие же границы и у творческих сил. Только летчик может соблюдать свой «потолок» безо всяких угрызений, а художнику очень тяжело сознавать, что он низок. Но выше головы не прыгнешь. Многие озлобляются от этого, пускаются в выверты, бешено обрушиваются на других, опускаются, — или смиряются, и это лучшее, что может быть, хоть и дорого дается. Я смирился.

Теперь вторая проблема. Она будет тебе ближе, потому что касается и тебя самого. Ты пишешь:

«... с какой радостью я просматривал репродукции твоих картин. Одни меня радовали, над другими задумывался, но все были понятны. Не то, что модная живопись, когда, говорят, на одной выставке первый приз получила обезьяна, и жюри село в лужу.»

Эти слова, дорогой мой друг, называются «мнением человека с улицы», то есть мнение рядового невзыскательного зрителя, о котором и говорить то не стоит. Искусство же существует не для рядовых людей, а для знатоков, и все новое не признавалось современниками, и только потомки... да, бывало и так. Однако, многое новое в одной эпохе искусства совсем не признавалось и самыми отдаленными потомками тоже, и начисто забывалось, как курьез, или такое, что и вспомнить то неловко...

Что такое расщепление атома ты, конечно, знаешь. Взяли основную частицу всякой материи, в которой, заметь, в полной гармонии, а красота — это гармония — согласованы между собой все движения положительных и отрицательных сил — и взорвали ее, вызвав хаос. С хаосом справиться не могут, и, поскольку мы все больше слышим о губительной радиоактивности, — по всей вероятности, и не справимся...

Наша эпоха — расщепления вообще. И атома, и личности. Конечно, всякие измы бывали в искусстве и прежде. Нам любят указывать также и на извечную проблему отцов и детей. Но, дорогой мой, если уж пускаться на деления, то почему, о Господи, почему не сделать самого простого из них: на больных и здоровых? Ведь здоровье — это тоже гармония организма и души?

Может быть, ты настолько искушен в политике, что скажешь, что социалистический реализм тоже, мол, требует здоровья, бодрости и веселья? Ложь. Если бы он этого требовал, то в громадной стране давным давно нашлось бы достаточное число душевно здоровых и талантливых людей, чтобы создавать шедевры. А их нет. И не может быть, потому что коммунизм требует принуждения к лжи, расщепления личности.

Увлечение любыми измами в порядке дерзаний молодости: может быть, чтонибудь получится? Иногда получается. Но когда совершенно ясно, что кроме шизофренического, душевно больного тупика не получилось ничего — тогда как? Тогда, может быть, мнение неискушенного рядового зрителя, не поднимающегося «выше» таблицы умножения и простых естественных законов (а ты не находишь, что многие из них исходят из высшего начала?), — все таки правильно? Может быть, здоровье и здравый смысл совсем уж не такие отсталые и смешные понятия?

Сперва я мучился своей отсталостью. Она казалась мне недостатком таланта, старомодностью, даже пошлостью и старостью души, во всяком случае, принадлежностью к тем отцам, которые не понимают детей.

Пойми только правильно: я видел много выставок. Есть новые формы, в архитектуре и керамике, например, поющие, как музыка, и сочетания красок, как стихи. Я видел дома с новыми, гармоническими линиями, статуи, где в чуть намеченной линии плеч звучала молитва, слышал стихи с глухо бьющимся ритмом, и восторгался многими книгами, которые совсем не начинались: «наш герой родился в...».

Короче: искусство, как и жизнь, обновляется всегда, и далеко не все дерзания свежих сил — выверт. Я против только этого выверта, дисгармонии, но зато бесповоротно. Ибо и при всем недостатке таланта можно сознавать, что «старомодность» — это единственное, что не дает еще свихнуться в этом мире. Что к ней относится? Все: вера в Бога, благодарность за все хорошее, что бывает в жизни, любовь к миру и все производное от этого, включая и здравый, простой смысл. Помнишь, как сказал Лютер: «Я здесь стою, и не могу иначе».

И еще. Жизнь можно уродовать. Изуродовали же мы свою, и имя нам — легион. Но мир идет дальше своими путями, и не все пути в наших руках — слава Богу!

Но, наконец, о бабочке же! Иначе я никогда не допишу тебе письма.

У нас на службе заливали асфальтом двор, а моя комната выходит на него окном, совсем невысоко над землей. Под окнами стоял смешной маленький паровозик со старомодной высокой

трубой, прихлопнутой сверху железной шляпкой. Вроде тех, которые с бешеной скоростью в двадцать миль в час мчали наших прадедов. Юмористы и сейчас рисуют их в кружевных завитушках... короче говоря — черная, вонючая, дымящая и раскаленная печка-котел для мерзкого асфальтового варева. Она воняла и пыхла, а я вспоминал смешные, наивные паровозики. И у самого края окна, у подоконника, билась весь ветреный день бабочка, махая громадным крылом нежного янтарного цвета. Просто — кусок оберточной бумаги, согнувшийся широким углом и прилипший к боку печки. Но она шуршала и билась, и это было так красиво на густо черном фоне — жалкая городская поэзия. А меня радовала целый день, и я никому не показал ее, чтобы не огорчаться вопросом: «Где же вы видите бабочку?»

У бабочки были желтые крылья, как платье девушки, прошедшей Сахарет. «Как» Сахарет, вот, теперь я нашел правильное построение фразы. Правильно ли я построил свою жизнь — это другой вопрос. Из нее, как видишь, ничего не вышло, то есть из великих мечтаний. Я не стал знаменитым, большим художником, так же, как и ты — ученым. Ты одинок в своей семье, я — без нее. Значит, и с любовью минус. Нет, я было решил, что не буду тебя огорчать, пусть лучше останется прежнее воспоминание, и я не отвечу вообще.

Но бабочка! Кусок оберточной бумаги может доставить человеку тихую радость, понимаешь ли ты? Стоит только посмотреть и подумать. Я нарисую ее, конечно, так же, как нарисовал сколько то картинок, которые тоже, может быть, кому то... пусть не знатокам, но комунибудь дадут что то. А в этом уже есть оправдание и смысл. В юности ли, в старости, все равно: всегда может биться у окна широким крылом желтая бабочка — и ветер радуется ей тоже!

Ну вот, а об остальной жизни я думаю, не стоит рассказывать. Слишком уж она коротка в пересказе.

ОДНА ОСТАНОВКА

Не то дождь, не то снег. С крыш капает и течет. Под ногами желтоватое месиво. Мокрый ветер бросается рывками в лицо. Холодно и безнадежно. Короткий зимний день уже скоро кончится, и так хочется, чтобы поскорее!

У остановки автобуса толпа. Стоят на выеденном бомбами тротуаре, на месиве мостовой и вытягивают шеи из мокрых воротников вбок, к повороту улицы. Наконец, он появляется, разбрызгивая лужи, большой, сразу уютный, желто-голубой. Мотор фырчит, останавливаясь, стенки вибрируют, как поют, от холостого хода, толпа бросается к двери. Дамы, рабочие, дельцы, угрюмые немцы с рюкзаками, старушки с громадными сумками, нахальные девушки, старики и дети. Все в одном жмущем, лезущем клубке, все отпихивают друг друга, лезут разом, какая то женщина визжит — автобус срывается с места. Еще цепляются за что то, чтобы повиснуть гроздьями на подножке, но шофер дает газ. У столба остановки топчутся разочарованные люди.

— Вот эта дама уже на третий автобус не может попасть — говорит возмущенно старомодная немка. — Для чего у нас полиция?

Дама устало прислоняется к столбу. Все равно, шуба давно уже мокрая, ноги тоже, руки задеревенели, лицо как будто обмазано липкой сыростью. Она поеживается только и глубже прячет руки в карманы. Да, на этот автобус очень трудно попасть. Он приходит сюда с вокзала уже переполненный, спускается к мосту, через предместье, потом длинная дорога через парк, на площадь в другой части города. Проехать надо только одну остановку, но минут двадцать.

Каждый раз, приезжая в город, она приходит сюда. Каждый раз ждет подолгу. Сегодня даже в третий не удалось попасть. Плохая погода, народу собирается много, а у нее чемодан. Если бы не мерзли руки, пошла бы пешком. Но в мокрых перчатках руки ноют так, что хочется плакать, чемодан большой, и если

уж столько времени ждала... может быть, попадет на следующий, придет к знакомым, отогреется до вечернего поезда. Еще не обедала сегодня. Надо обегать в городе все места, где берут самодельные сигареты: тут сотню, там две. Но между «тут» и «там» — мокрые холодные улицы, развалины, трамваи и автобусы...

Она равнодушно переводит глаза с соседнего дома на собирающихся у остановки людей и вдруг глаза прищуриваются, потом раскрываются широко, ресницы радостно и изумленно распахивают лицо, и она даже подается вперед, но вовремя останавливается и только выпрямляется. Чорт возьми! Вот это фигура! В нашем, не милости, а гнева Божьего тысяча девятьсот сорок шестом году, в двух шагах от стоящего на углу, как разваливающаяся коробка, американского джипа — и вдруг — приехавший с фронта казачий офицер! Только погон нет, но разве на фронтовые офицерские шубы из овчин вообще надевались погоны? Все остальное, как полагаεται: высокий, плечи в разлет, рыжая папаха, щегольские сапоги, офицерские перчатки из зеленой замши, толстый портфель с солидными штабными ремнями. Он подошел сбоку, остановился в двух шагах от нее, виден профиль.

Она старается не глазеть. Взгляд принужденно скользит по молодому вымытому немчику справа, по даме с намокшими хвостами норок на шее, — и только мгновенно, жадным рывком схватывают суровую складку у чуть вздрагивающих ноздрей, и такие голубые, такие русские глаза под темными бровями.

«Ах, есаул, есаул, — шепчет она неслышно, и в уголках рта невольно вздрагивает любующаяся улыбка — ну как вы заблудились, милый, в годах! Ведь сейчас уже не сорок четвертый. На улицах Берлина вы не увидите больше германских лейтенантов, не говорящих по немецки, но с лихо заломленной фуражкой, черкесок и лампас. Если вы посланы с донесением в Штаб главных казачьих войск, или в станицу на Казачьей земле, то ваш поезд опоздал, есаул. Краснов уже выдан большевикам и повешен в Москве, а о Казачьей земле и мертвые, и живые молчат...»

«Неужели бежал из лагеря для военнопленных? Нет, в таком виде отсюда не уходят. Достаточно посмотреть, как он стоит: спокойно, уверенно и решительно. Немного устал и знает, что война не кончилась — только прибавилось несколько других фронтов. О нет, он не сдал своих позиций. Ждет минут десять уже, и спокоен. Знает что автобус придет, и он попадет в него. Да, этот попадет...»

Она еще раз окидывает взглядом его широкие плечи и чувствует, как что то щемит в груди. Досада или зависть, или про-

сто легкая вспышка давно бы уже, казалось примирившейся горечи? Если бы этот есаул был ее мужем или любовником... то она тоже спокойно поджидала бы автобуса, зная, что он поможет ей войти, подсадит, несмотря ни на что, и сам не только вскочит на подножку, но войдет спокойно, как к себе домой. Может быть, даже ей не надо было бы ждать этого автобуса вовсе, не надо было бы мотаться целый день по городу, продавая сигареты...

Но это нехорошо. Николай Михайлович не виноват. Он болел сердцем и в мирное время, только тогда это было не так заметно, в собственной автомобильной мастерской работать не приходилось, были и доктора, и лекарства... Конечно, после бегства болезнь обострилась. Может быть, в дили-лагере было бы легче, но зато пытка этих стиснутых одеяльных каморок, чужих людей, раздражительность, нервность, страх выдачи, главное... Нет, Бог с ними, с их сигаретами и консервами! Лучше уж так — в немецкой комнатухе подголаживать. По крайней мере тишина, и даже диван, на котором он лежит весь день и набивает сигареты. А что дальше?

Дальше ничего, конечно. Податься куданибудь? Николай Михайлович с трудом ходит по комнате. Вот и сегодня, когда она вернется вечером домой, после двух часов тряски в холодном, забитом людьми вагоне, первый уютный отблеск лампы на столе сразу же поблекнет: в ведре нет воды, надо колоть дрова, и чтонибудь приготовить на ужин... хорошо еще, что достала эту банку с каким то порошком!

...Но если бы в той же комнате ее ждал сегодня вечером вот этот есаул — то около печки лежал бы целый ворох дров, из ведра капала бы через край вода, а на столе стояли бы разные вещи... и как бы он ее ждал!

Николай Михайлович ждет тоже. В ушах привычно брызжит его недовольный тон, а серенький день сереет еще больше. Сколько времени так может продолжаться?

Она снова поднимает глаза, смотрит пристальным, невидящим взглядом замученного человека. Какое ей дело до какого то заблудившегося в годах казачьего есаула? Может быть, он и не есаул вовсе, а купил себе шубу и все остальное по случаю? Она почти с ненавистью смотрит на его плечи, на которых еще следы от обманувших погон, но в эту минуту из-за угла вырывается автобус, грузные шины шипят в закипевших лужах, комья жидкого снега обливают ноги, сзади в нее упирается чья то сумка, и она невольно валится под локоть высокого есаула. Она чувствует, как он почти обнимает ее, ноги сами собой находят ступеньку, еще шаг, еще... Автобус трогается, величественно пересекает улицу и плавно движется вниз.

Она стоит в углу, прижатая своим чемоданом. Теперь его можно не держать вовсе, все равно не упадет. Есаул стоит в пол-оборота к ней, они сдавлены толпой так тесно, как могут прижиматься только влюбленные, ее щеку шершавит слегка мокрая овчина его шубы (знакомый с детства, такой хороший деревенский запах), и если она только чуть приподнимет голову, если вообще только захочет деть куданибудь глаза, а не рассматривать все время свой собственный рукав, то должна смотреть на него, просто нельзя иначе. Но можно и опустить глаза. Можно совсем ничего не думать, а только чувствовать близость своего, родного человека, сильного и спокойного, умеющего бороться с жизнью, умеющего устроить ее так, как ему хочется, защитить и приласкать. Можно даже прислонить голову к его плечу, когда покачнулся автобус, и сказать «милый», так сказать, конечно, чтобы он не услышал...



Автобус заносит на повороте, высокий человек в офицерской шубе чуть покачнулся даже, по подбородку, почти по губам, скользнула, как влажная пушинка, намокшая меховая шапочка стоящей рядом дамы. Ему пришлось посадить ее в автобус — чорт знает, что делается на остановках, если бы лучше знал город — пошел бы пешком! Просто удивляться надо, как тут люди ездят вообще. Толкаются, ругаются, при всей хваленой немецкой вежливости. Хороша вежливость — женщин давят! Эта, конечно, не попала бы, если стояла бы позади. И видно, не немка. Вот как объяснить — не написано же на лице, а видно. Полька? Наверное, русская. По шубке узнать можно! Таких милых, стареньких «бывших» шубок у немок не бывает. И шапочек тоже... Дама улыбается слегка смущенно. Ну да, он почти обнимает ее в этой давке. Ничего, очаровательная мокрая незнакомка, вы можете спокойно опереться о мою грудь. И не то еще выдерживал, стреляли навывлет — не дострелили...

Интересно знать, что скажет полковник, когда они встретятся. И как называлась эта штрассе, чтоб ей пропасть! Что-то такое на «Кле... Клепп...» Ну, да у него записано...

А она действительно очаровательна. Не потому, что красива, ничего особенного нет, а вот чем то родным, милым, той особой, поющей нежностью, которую не всегда встретишь, и может быть у нее самой тоже не со всеми бывает. Не сразу ее увидишь, на улице прошел бы мимо и не заметил. А вот тут можно долго стоять и рассматривать, не спеша. Она отвернулась чуть-чуть, смотрит на деревья парка, вот домики, совсем как в провинции, в захолустьи какомнибудь... Окно зажглось. Может

быть, она думает сейчас то же, что и он, и оттого у нее такие горячие глаза и ласковая улыбка. Может быть, она тоже думает, как хорошо подойти к такому маленькому домику в мокром саду, увидеть огонь в окне и знать, что тебя здесь ждет самый родной, любимый человек... Вот если бы ждала его приезда — такая! А не Лиза. Правда, Лиза прибилудилась к его части во время бегства еще, и шла вместе, тоже не сладко было, но она знала, что он всегда что нибудь устроит и достанет, даже тогда... Она очень хорошая хозяйка, аккуратная даже чересчур, только и делает, что чистит и скребет. Лиза моложе и красивее этой тоже, — грубее только. Одну топором тесали, другую гра-вюрным резцом обтачивали. Как это странно получается: сколько раз Лиза убеждала его, что им надо обвенчаться! Ругалась, плакала, целовала его... Голос у нее такой скрипучий делается, да и вообще то не соловей, и приходится откупаться. Прощлый раз купил ей лису, а теперь колечко. Камушек без изъяна, пусть утешается, дела идут хорошо в общем. А вот у этой голос должен быть мягкий и ласковый, грудной... И на этой женился бы сразу, не раздумывая, по казачьи! Ну разве может жить одна в такое время такая? Разве что в лагере, когда кормят. Ее с этой жизнью справляться заставить, все равно, что на арабе воду возить... Правда ведь, родная, скажи! Как тебя зовут? У тебя и имя должно быть хорошее. Ласточка, может быть, или Зоренька... Вот ты кто. Заря на небе. Березки на косогоре, и ясный день...

* * *

«Товарищей на фронте не бросают, — думает она, прислоняя головой к его плечу. — А с Николаем Михайловичем — это мой фронт. Больше я никому не нужна. Да, надо почаще смотреть в зеркало, и почаще вспоминать, что я хороша только для Николая Михайловича, который меня и не такой знал. И я не могу сказать ему, что мне так хотелось бы еще походить по театрам, поиграть на рояле, почитать вечерами книги, а не резать табак... Но хочется иногда помечтать, все таки! Милый, не шевелись, пожалуйста! Дай мне еще постоять так... Я знаю, что ты меня любишь, и мне так тепло от этого. Я знаю, что ты со мной вместе... еще долго, долго... до конца остановки.»

«Эх Зоренька! Зоренька! — чуть заметно качает головой есаул. — Видишь, как я расчувствовался, брат. Увидел тебя и все забыл. И полковника, и Лизу, и многое другое, Зоренька. Это не беда, что ты вряд ли умеешь так стирать рубашки, как Лиза. Зато ты не будешь говорить «играться», и сумела бы из любой немецкой комнаты сделать уютный дом. Ты, наверно, не

спрашивала бы, сколько я заплатил за цветы, которые принес, а радовалась бы им, ты наверно, приходила бы ко мне с книжкой и говорила: «Почитай, какой чудесный рассказ!» Ты бы... ну вот, теперь хоть раз посмотрела, как рублем подарила. Кто тебе целует ресницы, Зоренька? Помнишь стихи: «Вы меняли на франки, на лиры, на иены васильки ваших русских очей». Да, тогда васильки стоили дороже! Теперь никто не подумает давать за них фунты и доллары. Достаточно пачки сигарет и плитки шоколаду — и сколько угодно «фрейлейн». Да вот и Лиза за свои нахальные гляделки и круторogie бедра наберет достаточно — меня видишь, тоже порядочно накрыла — а у тебя нет ни шоколада, ни каратов. Верю, потому что тем, кто вытаскивает из кармана пачку — Зоренек не надо. Тебя и не разглядят вовсе. Я вот знаю, что у тебя красивые руки, я знаю очень многое, Зоренька, мне не надо говорить... И я знаю, что я сентиментальный дурак и думаю глупости, потому что в автобусной давке ко мне прижата незнакомая женщина с горячими глазами... Но ведь иногда можно и помечтать, Зоренька, правда?»

Последние ветки парковых деревьев трягнули тяжелыми каплями по крыше и автобус вполз в гору, мимо высокой каменной стены с Мадонной в нише, врезался в грохочущую трамвайями площадь и остановился. В открытую дверь влилась сумеречная, холодная мгла, и тускло блеснули лужи.

Он выпрямился, расправил плечи и деловито прижал к себе портфель, спускаясь на мостовую. Она зябко поежилась, подхватила усталым движением чемодан и вышла. Оба почти одновременно ступили на тротуар и невольно обернулись, посмотрели друг на друга в упор. Кажется, кто-то из них хотел что-то сказать, но сбоку качнулась тень, завизжал джип, и они сразу как то разорвались и потеряли в толпе друг друга. Совсем.

ЛАГЕРНАЯ БОГОМАТЕРЬ

Хозяйка выпускала на двор гусей с утра, и они уходили либо по деревенской улице, либо через сад под забор, и оттуда на луг, уже обсыхающий после совершенно непонятого разлива крохотной речушки. Рыжие пучки осенней травы поблекли, как сено, масляной желтизной светились повсюду острые ростки, и вдруг зеленым гнездом раскидывались густые листья щавеля, которого ни немцы, ни коровы не ели. Может быть, ели гуси. Их теперь гуляло только трое: остальные сидели в сарае в клетках на откорм, и даже не гоготали больше во весь голос. Зимой они поднимали страшный крик по вечерам, минут за десять до того, как над деревушкой тяжело и неумолимо медленно буравили небо бомбовозные эскадрильи — с запада на восток, в Берлин. Гуси слышали их задолго до появления, у птиц другой диапазон слуха, чем у людей, а от того, что они меньше знали о самолетах, чем те — боялись их не меньше.

Но теперь, уже накануне капитуляции, эскадрильи не пролетали больше. Деревушка так и осталась нетронутой: несколько десятков дворов, пивная, церковь, мост через речку, и поля, вперемежку с сажеными сосновыми и еловыми лесками.

Гуси ходили втроем, в строго установленном порядке. Впереди, бок-о-бок, белая пара: гусак и гусыня. Он был важным красавцем, сурово, но внимательно относился к подруге, и беспрестанно злобно шипел и клевал вторую гусыню — может быть потому, что у той были полосатые, серые крылья. Белую он любил, ухаживал за ней гордо и по мужски. Она щекотала ему клювом перышки, умильно гоготала, слушалась малейшего взгляда — и тоже часто разевала клюв и отталкивала серую замарашку.

Замарашка страдала. Всегда соблюдать расстояние, спешить за другими, изгибать шею, уклоняться от ударов, — и обожать издали ослепительно белого красавца! Конечно, у нее раздиралось сердце, и если гуси плачут, то она должна была глотать обидные, бессильные слезы отвергнутой любви. Но она продол-

жала любить. Переваживалась вслед, сносила все унижения, — и никогда — никогда не поднимала клюва, в безропотной покорности раз и навсегда уязвленного сердца.

За деревенскими полями начиналась и уходила в серое небо «Хейде» — северная немецкая степь: песок и болото, вереск, можжевельник, черника, лески, и отдельные кряжистые, расстрепанные деревья, туманы и бездорожье. Редкие крестьянские дворы с опустившимися до земли почти крышами, болотным торфом, чадающим в очаге, деревянными засовами повсюду и молчаливыми людьми, привыкшими разговаривать больше глазами: не только с живыми, но и с нежитью. В Хейде до сих пор еще встречается болотная и иная нечисть, невеста ветра справляет осенью свадьбу, ведьмы заплетают деревья, бродят огоньки по ночам, и знахарки варят в горшочке травы с наговором. Сказки рассказывали и во время войны, под жужжанье прялок. На каждом чердаке была прялка — бабушки или матери, но раньше можно было поехать в ближайшее местечко, и купить в лавке мягкую цветную шерсть. Только на тех крестьянских дворах, которые назывались «торфяными», а это уж совсем бедность, ее покупали редко, для расцветки, а пряли всегда со своих овец. Своя выходила крепкой и сухой, неровной и жесткой нитью, зато носки сами могли стоять на полу — такие добротные.

Теперь пряли повсюду — и нитки, и одежду давали только по карточкам, старые запасы поределли. Выменивали даже у травниц на яйца пучки травы и корней, чтобы красить: фабричные краски плохо прилипали к этим ниткам. Черника давала красновато-лиловую краску, а из «душицы», у которой так пряно пахнут и листья, и пушистые лиловые цветы осенью, делали отвар коричневой.

Но война кончилась. Бургомистр разнес повестки всем оставшимся еще мужчинам, — мальчикам и старикам, о зачислении их в ландштурм, с приказом явиться на обучение: метать противотанковые гранаты. Поехали немногие и обучение не состоялось вообще. Против тех же танков надо было строить баррикады. После долгих совещаний в пивной было решено повалить несколько старых берез за околицей, которые давно надо было срубить. В воскресенье все имевшиеся лошади — неповоротливые светлозадые битюги притащили на цепях длиннющие бревна, белые в прочернь. Их сложили на улице, аккуратно в стороне, и только для вида, бессмысленно и хмуро, вырыли сбоку небольшую ямку и выставили конец одного бревна чуть-чуть на дорогу. Приготовились, якобы, но вот не успели, а тем временем... да и какие танки пойдут здесь! В том, что пройдут не немецкие войска, не сомневались больше — откуда бы им взяться? Поэтому и мост через речушку взорван не был, вы-

тащили запал из оставленного лейтенантом заряда. «Наш мост их не остановит, они то речку перейдут, а как сами ездить будем?» Слова были скупыми и хмурьими, как нависшее небо и то, что надвигалось вслед за танками победителей. Говорили больше взглядами и обняками. Под предлогом весенней уборки стали снимать со стен портреты Гитлера — почему то у всех запачкались рамы...

Гуси не ходили больше. Сперва села на яйца белая красавица, а через несколько дней — вторая, серая замарашка. Гусак, значит, снизошел к ней все таки, но наверно даже без минутного увлечения, а по обязанности... Но роль гусака кончилась. Он повис с проколотым горлом, головой вниз, под поветью между сеновалом и домом, около входа в кухню, и хозяйка обдирала, еще с теплого, перья и пух для бесчисленных перин.

В кухне блистала белой эмалью плита и раковина водопровода; в деревне давно было электричество, конечно, разные приборы и аппараты для хозяйства, хотя ток во время войны расходовался очень скупо.

Русские военнопленные, жившие в одном доме у крестьянина, у которого их было два, работали на всех окрестных дворах без надзора, и ходили свободно. Только на ночь им полагалось всем собираться в доме, и у дверей вставал часовой — один из крестьян, дежуривших по очереди. Спали спокойно все. Пленных кормили неплохо — хлеба хватало, давали даже бурый, тошнотворно сладковатый «мармелад» из свеклы. Приходил пастор из соседнего баронского имения, балтиец, прилично говоривший по русски. Пленные просили его отслужить пасхальную службу, но никто из них не мог вспомнить ни тропаря, ни текста «Отче Наш», и пастор осведомлялся у балтийских беженцев, живших неподалеку. Пасторша решила подарить к Пасхе каждому по яйцу, и расписывала их синим и красным карандашом, потому что в деревенской лавочке, кроме красной, никакой другой краски не было, а этот цвет казался пасторше сейчас неудобным. Те же балтийские беженцы недоумили ее красить яйца луковыми перьями, только доставать яйца у крестьян было так трудно! Она предлагала уже им свои серебряные ложки, еще из приданого — но у крестьян было и серебро. Деньги же считались, для порядка, но ничего не стоили больше, потому что неизвестно, что будет, а инфляцию после Первой мировой войны помнили все.

Пленные видели и водопровод, и плиты, и многое другое. Конечно, они не подозревали, что эта деревушка находится в страшной глуши — четырнадцать километров от железной дороги! Но они видели крестьянские дома с натертыми полами, постройки прадедов еще, стоявшие прочно и крепко. Хозяйство в десять гектаров считались уже хорошим — сорок моргенов!

Земля была бедная, немцы работали не спеша, но с утра до вечера, и раз в неделю собирались в пивной подыграть трубкой и выпить кружку темной водички с легким запахом хмеля и пеной. «Вот живут!»

Но когда уже позднее весной, после капитуляции, приехал человек в кепке и с пристальными глазами, а с ним девушка в красном платочке, с веселым хохотом распевавшая с пленными песни перед их домом («Широка страна моя родная...»), и дом никем не охранялся больше — то они с радостью слушали о скором возвращении на родину и исподлобья смотрели на балтийских беженцев, пришедших предостеречь их — не верьте! Что с вами сделают!

Слово «вера» поворачивалось, как битюг, в их голове. Как могли они поверить, увидив дороги, обсаженные фруктовыми деревьями, что все крестьяне испокон веков сажают их здесь так, и собирают каждый со своего дерева осенью, а что упадет на землю — это прохожему человеку. Ну, случается, конечно, что ребята обобьют несколько штук яблок или груш... И когда на первый и второй год увидели своими глазами — все равно не поверили. «Это у немцев может быть. У нас бы показали! И деревья бы обломали начисто, на дрова...»

Может быть, ктонибудь из их группы и ушел потом втихомолку на юг, на запад, подальше от еще ненамеченной границы с востоком. Может быть, погиб — выдали, отправили... или хорошо живет теперь в Америке, и многое из прошлого у него как ножом отрезано. Неизвестно. Люди говорили в то время так же мало, как звери.

* * *

А весна шла, и когда Варвара Петровна проходила по улице, сворачивая под мост, на обычную прогулку, то наискось от моста, из пекарни за лавкой, быстро бежали чистенькие, кудрявые девушки и дети, все в пестрых передниках и добротных шерстяных чулках, держа на вытянутых руках подносы под полотенцем, от которых вкусно, но немного приторно пахло. Это домашние хозяйки посылали за своими кухнями к Пасхе — вроде пирога на листе, только без начинки, а с присыпкой сверху жирными сладкими крошками. Варвара Петровна старалась не чувствовать запаха, или уверяла себя, что наверно они опять сделали тесто не на дрожжах, а на этом невкусном порошке для печеня — совершенно непонятно, почему портят добро. Но не могла удержаться от мысли, как все это целесообразно устроено в мелочах, облегчающих жизнь: за несколько пфеннигов пекарь всовывает в свою печь листы с булками и

кухенами, и хозяйка экономит на топке. Просто, расчетливо и продумано. Глухая деревушка, но девушки одеты нарядно и чисто, не только в праздник, но и в будни, завивают волосы, городским не уступят. На поля едут на велосипедах — от трех-летнего ребенка, одной ногой на педали, сам под рамой, до седой старушки. Все женщины в крахмальных чепцах-капорах, кружевной навес дугой над лицом, от солнца. Все иначе, все чужое, но сколько разумного по сравнению с тем, что было дома, и пленные должны же видеть...

Чтобы думать времени было больше, чем нужно. Варвара Петровна шла по знакомой уже дороге, поднималась на пригорки, и как всегда казалось, что около каждого дерева может быть чтонибудь интересное и новое. Вот идет весна, и «равнодушная природа» будет «красою вечною сиять», нет ей никакого дела ни до кого, и на всех развалинах, могилах, окопах, воронках будет снова расти, пробиваться трава. И мысль эта так же стара, как мир, и каждый человек переживает в своей жизни немало весен. Иногда совсем не замечая их, или только вскользь, а иногда задумывается, или остро, по новому чувствует весну, и всегда это так было у всех и будет, и никому незаметно, и дела нет...

Вот растет на пригорке несколько елей, посредине полянка. На двух елях ведьмины гнезда: ветки срослись, свернулись в клубок, одни иглы сверху, другие во-внутрь. Она посмотрела: внутри совсем сухо, как гнездо на самом деле. Белка отлично может жить, или даже сова, ничего не стоит проделать туда ход, и зимой тепло. Очевидно, какая-нибудь болезнь дерева — а может быть и действительно в этой Хейде еще ведьмы летают... черных мыслей у людей достаточно. Если собрать хоть малую часть из того, хотя бы, что ей самой видеть приходилось — если бы эти мысли можно было собрать в комок, по перышку, как птицу — страшная ведьма выпшла бы... а может быть мысли не хуже бомб летать и разрушать могут?

Но солнце светит — мягко, тепло, приветливо, пригорок золотится под елью, совсем о ведьмах думать не хочется. Вот лежат прошлогодние шишки, они слишком мягкие, прогнили, но есть и покрепче, можно собрать для печки. Потом она спустится вниз, в сажень лес, хворосту соберет. Господи, как хорошо весной в лесу! Только голодно: ни ягод, ни корня какого-нибудь вкусного... Варвара Петровна, проходя домой под поветью, потихоньку запускает руку в ларь с кормом для кур и прячет в карман горсть кукурузных зерен. Они страшно твердые — как это куры их раздолбать могут? Она колотит их долго, завернув в тряпочку, молотком, когда хозяйка уходит из дому, чтобы та не услышала. Потом вымачивает дня по два, и варит на своей печурке. Каши не получается — только мутная водичка, и в

ней полутвердые камешки, которые надо долго жевать... Вот, если бы в лесу заблудилась курица... или заяц. Нет, зайца не убьешь — он кричать будет, а курицу — еще какнибудь бы...

В густом саженом лесу стоит на полянке охотничья избушка. Целый домик под зеленой крышей, ставни тоже зеленые. Комнаты две-три будет. Дом заколочен — хозяин давно не приезжал сюда на охоту — может быть, и не вернется никогда пугать зайцев. Хорошо бы остаться здесь жить. Огород развести, слушать, как шумят сосны, смотреть на небо, и мысли шли бы с тишиной вместе — неторопливо, простые, как река. Варвара Петровна долго сидит у домика и мечтает о тихой жизни. А вдруг выйдет на поляну охотник в зеленой шляпе с пером, с трубкой в зубах? Разве он поймет, если рассказать ему? Будь ей двадцать лет — может, и понял бы. Хотя и в двадцать лет у нее не было таких ясных голубых глаз, как полагается, когда вся жизнь впереди. Она только что кончила гимназию, когда началась революция, и жизнь кончилась, в сущности, потому что все, что было потом, и тяжелое, и хорошее даже — проходило бестолково и не потому, что хотелось и думалось, а просто так — несло. Хотелось бы совсем иначе, но кто спрашивает вот эту хворостинку под ногами, хочет ли она, чтобы ее топтали?

А топтали много и долго. Может быть, если бы она отличалась чемнибудь: красотой, характером, талантом...? Ничего этого не было. Большие огорчения, маленькие радости, ежеминутные уколы, страх — серенькая, рядовая жизнь. И фамилия то у нее такая: Рядова! Все было, как у многих: болезни, скучная работа, жалкие попытки как то скрасить жизнь, не смотря ни на что, немножко любви, много горя. Знает она, что такое смерть, бегство, аресты, войны — во всем протоптала тоненькую ниточку-дорожку, рядом с тысячами других таких же. А ведь эта война теперь ураганом была. Когда города рушатся — кто заметит следы шагов на камне? И камней то не остается, да и кому замечать? Она и сама своей жизни не понимает и разобраться не может — ну как, например, в этой деревушке очутилась? Хорошо, в Берлин принесло общим потоком — но ведь могла же там остаться? И осталась бы, в Берлин теперь советские войска входят... если под развалинами не погибла, схватили бы и ее заодно. Не по вине, а по признаку, серую скотинку. А вот же подвернулись малознакомые, увезли с собой. Вещей один чемодан остался, сложить недолго. Ну, а дальше?

Не хочется думать, что будет дальше, когда идет весна и кажется, что с полей слышится уже пасхальный благовест, и несет с собой радость...

Радости не может быть, конечно. У нее все время болит бок — тянет и жмет. Пробовала прикладывать компрессы — немного помогают на время, потом опять. Горячий кирпич в

боку, повыше бедра. Доктора сейчас не достанешь, да и зачем? Родины нет больше — возвращаться некуда, девушка в красном платочке не ей будет петь песни. Родина уже с молодости стала мачехой. Дочка Ниночка давно умерла. Красивая тоненькая девочка в передничке, молока ей всегда не хватало... Муж был — такой же покорный, боязливый и безответный, как она, такой же серенький. Может быть, потому и любимый, как любят тепло обездоленные люди. Но муж неизвестно где, и вряд ли они увидятся когда нибудь. Разорвало, разнесло, судьба значит, такие, как он, не смогут выкарабкаться.

Варвару Петровну примиряет подушка. Крохотная думка, легкая, как пушинка, из дому еще, немецких громадных подушек она не признает. Вот погладит на ночь думку под щекой, расскажет все — все, помолится, и заснет. Сон ласковый, она его с детства любит. Все старалась раньше уловить эту тончайшую грань перехода от дремоты в сон, никак не удавалось. Поймешь, что заснула, только когда проснешься. Со счастьем так у многих тоже бывает, или смерть — тоже так?

Теперь она просто радуется, когда удается задремать без боли, согреться и закрыть глаза. А дальше что?

Война убивает свои последние дни. Уже конец апреля, в несколько минут налетает ветер с дождем, хлещет по стеклам, а потом опять солнце. Но дни надо заполнить чем нибудь: Варвара Петровна чистит каждое утро до блеска свою комнатуху. Хотя блестит только пол и зеркальце на комод, но после уборки даже такое кофе кажется вкусным, и к нему хлеб: два толстых ломтя. Третий кусочек, с корочкой, после обеда, вместо печенья к чаю, а вечером кукурузное варено. После завтрака она садится вышивать: в Берлине еще достала кусок не то парусины, не то грубого холста. Теперь делает на нем узорами бесконечные мережки: работы над ними много, а ниток идет мало, и это хорошо, у нее только одна катушка есть. Вышьет скатерку — для чего нибудь, праздничного.

Еще есть книги — берет у пастора в библиотечке при церкви. По немецки Варвара Петровна читает медленно, зато книжки хватает надолго. А пастора она любит слушать — каждое воскресенье ходит в кирху. Это не балтиец из имения, а местный. В кирхе острые углы выбеленных сводов, как будто с красивых соборов, оставшихся в памяти картинками, содрали кожу, и остался один сухой, обнаженный костяк. В острых ребрах гудит орган, пронизывает насквозь. Крестьяне сидят неподвижно, темные руки сложены на коленях, острые локти старух выпирают из рукавов.

Варвара Петровна украдкой крестится, когда читают Евангелие или Отче Наш, и повторяет про себя привычные славянские слова, но проповедь слушает с напряженным интересом и

заранее уже приготовившись: примерить к себе, разобраться в том, что на самом дне души, во всей своей жизни, в тайных помыслах; отдать отчет, испросить помощи, опоры. Простота лютеранской проповеди, глубина и доступность мысли каждый раз восхищают ее. Ведь это глухая деревушка, старенький — ему уже за восемьдесят лет — пастор. А говорит он так, что и крестьянин его может понять и задумается, и профессор какой нибудь увидел бы откровение в глубочайшей мысли. И он не стесняется говорить о самой простой, обыденной жизни каждого человека, без елейной медоточивости, лицемерного возмущения, пафоса, метания громов против грешников, угроз и воздыханий. Если бы такие светлые, простые и мудрые мысли почаще говорились людям . . . то не было бы ведьм. И многого другого.

Потом лес, и почти каждый день посещение знакомых попутчиков из Берлина: что слышали нового? Каждый день может случиться пугающее новое. А вечером опять книги.

Гусыни — обе вдовы — вышли на двор с желтыми гусятами. Белая долго гоготала, топталась на месте, но серая решительно и сразу взяла на себя роль вожака. Теперь она шла впереди, опекая гусят, и своих, и своей соперницы, она сторожила, она — даже! — вытягивала иногда шею и шипела на белую, если та делала, по беспомощности, очередную глупость. Белая была слишком избалована вниманием, ей не приходилось бороться с жизнью. Серой пришлось хлебнуть горя. Но она приняла новую роль с радостью, как обязанность, она исполняла свой долг с гордостью. А может быть потому, что это были его — дети . . . ? Или ей не могли придти такие мысли в голову? Может быть гуси больше чувствуют, чем думают.

Серая замарашка была теперь бесспорно счастлива: у нее была хлопотная заполненная жизнь, ответственность и обязанности. Она была неутомима. Она вела за собой других.

Почты нет. Радио работает с перерывами. Налеты прекратились уже давно, но где то ухают пушки. Из соседнего склада привезли уже разграбленное добро — сахар-сырец, крупный и мутно-желтый. Давали всем — кто сколько мог унести. Но на карточки продуктов все меньше. Война кончается, весна идет, только жизни нет, да у нее, Варвары Петровны Рядовой, и не было настоящей никогда. У многих других тоже. Это очень слабое утешение, но другого нет.

* * *

Лагерь был небольшой, на отлете за лесом, а по другую опушку раскинулся второй, тысячи на три человек: длинные ряды унылых бараков. Здесь раньше был подземный завод; те-

перь из взорванных ям торчали железные балки, погнувшиеся, как кровати. В земляных обваливающихся ходах с опаской копошились взрослые, в надежде наткнуться на чтонибудь полезное — кусок жести, железа, доску, и играли дети. Около барakov повырастали уже пестрыми лачугами заплатанные жостью и американскими коробками сарайчики. Люди похозяйственнее заводили кур, коз, свиней; с кухни доставали помои и отбросы, выменивали корм на кофе, сигареты, шоколад у окрестных крестьян. Первые два месяца в лагеря привозили много невиданных консервов, питательных порошков, одежды. Потом установился порядок, изобилие прекратилось, на кухне варили мутную лапшу, деликатесы кончились, но перепадал и кусок колбасы, и сыру.

Варвара Петровна считала, что грех жаловаться. Где же это видано, чтобы тысячи людей кормили, одевали, давали им крышу над головой, дрова — и все даром? Американцы, ведь, не виноваты, что людям пришлось бежать, и ничем не обязаны. Ну хорошо, богатая страна, у нее излишки, но много ли людей отдают другим, если у самих много? А тут даже отдельные люди шлют всякие пакеты.

Немцы голодали всерьез. Варвара Петровна тоже продолжала сперва голодать в деревушке — пока ее не перетащили в лагерь. Так же случайно, боком, захватили, как и всегда в ее жизни. Комнаты были уже все заняты, но в половине одного барака — их всего то было десятка два — решили устроить церковь, а заодно и ей отгородили каморку рядом с сенцами. Сквозь дощатую стенку слышались спевки хора, будто у нее в комнате они проходили, и служба, конечно, тоже, но зато остальное время было тихо. Не то, что у многих других: с одной стороны дети кричат, с другой — взрослые матом кроют.

Вместе с другими она помогала устраивать церковь: накручивала из цветной бумаги розочки и фантастические цветы, чтобы оплести гирляндой иконы; шила из простынь чехлы для подсвечников и алтаря; вырезала толстый коробочный картон узором для рам, и обклеивала стены церкви цветной бумагой. Немного бумаги осталось и для стен ее комнаты. Бумажных цветов себе она не сделала, а повесила в оплетенных веревками банках елочные ветки на стенку. Все женщины лагеря пытались создавать хоть какой то уют: он был жалок и трогателен.

В комнатушке умещалась койка: соломенный матрац, серое одеяло; узкий шкаф, стол и табуретка. Варвара Петровна прибила полочку в углу для бумажной иконки, сунула под стол электрическую плитку-самоделку, купленную за две пачки сигарет, и накрыв столик своей скатертью с мережкой, поставила на него плоскую консервную банку из-под селедок с выкопанными в лесу кустиками черники — все таки зелень и красивее.

Убирать было хорошо, потому что не надо было думать о другом. Что дальше?

В лагере — временная и совсем уж не настоящая жизнь. Странная и вся «пока». А потом? Перевезут за океан? Увезут — на родину? В лагерях для русских военнопленных многие кончали с собой, резались бритвами. Лагеря окружали пулеметами с танками, священников вытаскивали из алтарей, топтали детей и женщин, бросали в грузовики. Дахау, Платтлинг, Фюссен, — с юга шли страшные вести. Франкфурт, Гамбург, Бремен... это уже здесь, северо-запад — передавался страшный шопот. В Тюрингии... шлагбаум дороги на восток, дымящейся кровью, ведьминым помелом метался по всей стране, вырастая неожиданно у ворот, открывавшихся в смерть. Туда же катились вагоны с красными флагами, зелеными гирляндами и веселыми лицами распевавших песни людей — пленных и остовцев, поверивших в возвращение на родину. Веры у них, думала Варвара Петровна, наверно не было, так же, как у тех пленных в деревне, которые видели посаженные яблони, сами подбирали яблоки в траве — и все таки не могли поверить, потому что в их жизни такого не было. Посадил человек далеко от дома деревцо, и ждет. Пусть сорвет ктонибудь яблоко — не беда, их много вырастет. Но ведь не было случая, чтобы начисто обтрясли чужую яблоню, нарочно сломали дерево — без сторожей, на проселочной дороге.

Только ли — чувство собственности? А если даже так, то из чего вырастает эта спокойная уверенность в своем месте и праве, уважение к другому, достоинство человека? Может быть многие, сажавшие и собиравшие, и не задумывались над такими высокими понятиями, ничего не знают о них, но зато знают их по настоящему, вот как Бог есть, и солнце на небе светит. И на солнце могут найти тучи, и в Боге можно отчаяться и возопить — но уносит тучу, проходит отчаяние, а свет стоит нерушимо.

Нет, пленные не знали этого. У них все нерушимое отняли, когда они еще детьми были. Когонибудь — в двадцатых, тридцатых годах могла и собственная мать съесть. Бывало же такое? Бывало. Пусть людоеды встречались не часто, зато душеедов куда больше было, а они то остались.

Видели и не верили. Нечем верить. Едут с песнями не потому, что знают. Тянет свое, привычное, дымное тепло, и боятся. Но и к страху привыкли, и «авось» есть, и скопом легче, а если шевельнется мысль — то это только надежда, не оставляющая человека и тогда, когда он даже не может себе представить, на что же ему, и зачем надеяться.

Церковь устроили, и Варвара Петровна стала ходить в библиотеку большого лагеря. Ее собрали какими то неожиданными

пожертвованиями частных лиц, но по настоящему в ней устроились работать три дипистки побойчей. Одна совсем серьезная, чуть ли не доктор химии, а две молоденьких, с кудряшками бывшие оstockи из бывших колхозниц. Теперь они выучились красить ногти и давали стирать свое белье бабушкам, теткам или матерям — те кстати и зашьют, если понадобится, а у них самих терпения не хватает.

В библиотеке было веселей. Приходили люди, зубоскалили молодые парни. На крыльчке — клуб слухов — велись политические споры, сообщались новости, и напутывался прочный клубок сплетен. Но и песни пели тоже, и вдруг ктонибудь читал стихи — свои или чужие.

Варвара Петровна ничего не получала за свою работу, а приходила просто так, почти каждый день. Не быстро шла по лесной дороге, каждый раз с удовольствием ощущая, как по обеим сторонам вырастают зеленые стены: чистая, ароматная свежесть, и та особая, шепчущая тишина, какой нет в человеческой жизни: легче дышать. Идти надо было километра три: в глухую осень, а потом зиму, разглядывая следы на снегу: что нес в душе человек, вдавивший их в колею? Позднее, когда дорога стала размокать, ходить стало все труднее от боли в боку, тянувшей вниз, и иногда приходилось останавливаться — так захватывало дыхание.

Придя в библиотеку, Варвара Петровна садилась в уголок, позади полки, и осторожно перебирала книги. Здесь надо подклеить, тут номер проставить, подшить. Переплетного дела она не знала, инструментов тоже не было, но какнибудь починить удавалось. Все таки лучше будут держаться страницы. Книги надо читать и беречь — другим пригодятся. В книгах можно все найти — она вот всю жизнь находила, и оказывалось, что узнала многое, не учась даже.

К ней часто обращались за советом, с вопросом, но получив ответ, сразу забывали о ней самой — она всегда стояла в стороне. Наружность тоже не запоминалась. Варвара Петровна была небольшого роста, худенькая, с поблекшим лицом шестидесятилетней женщины. Волосы, русые раньше, теперь были как золой посыпаны, глаза побледнели так же, как губы. Таких Варвар Петровн много везде и всегда, но только в такое время — потому что война не кончилась для дипи, катастрофа продолжается, все рушится и дальше, страх давит днем и ночью — и только в такое время Варвара Петровна бывает нужной. Холостяку-одиночке пуговицу пришить, хозяйке показать, как из порошка сладкое сделать, а главное — всех послушать.

В комнатушку рядом с церковью часто заходили с маленькими просьбами, а главное — чтобы сесть и рассказать. Муж, молодой и любимый, перерезал себе горло при выдаче... двое

детей погибли под налетом... на фронте оторвало руку и ногу... открылся туберкулез... Выдадут или оставят? Пустят ли в Америку или куда? На что же надеяться? Да есть ли Бог, когда все обманули?

Плакали. Просто, или сдавливая слезы, спрашивали: разбитые, отчаявшиеся, обманутые. Не ради ответа — что же ответить? Не ради утешения — как утешить? Просто потому, что вот сидела напротив пожилая женщина и смотрела понимающими, внимательными глазами. Если же, изредка, спохватывался ктонибудь и задавал вопрос: «А вы то как, сами?» — она улыбалась только. Так кричат люди в этом кровавом месиве, что свое теряет совсем.

— Что ж я — как все. Всего хватило. Я понимаю.

И понимала, но казалось иногда, что каждый кладет ей по камешку на плечи, и все растет эта горка, а камни острые, давят, гнут к земле, как кошмар по ночам.

Есть она стала теперь совсем мало. Сперва — после кукурузного то варева! — консервы казались необычайно вкусными, но вскоре заметила: возьмет ложку — другую — не хочется больше. Да и в желудке давит, если поешь, и боль сильнее в боку.

* * *

— А я думал, что вы — просвирня, раз у церкви живете — сказал художник. Его сразу было видно: на голове берет, а не кепка, волосы длиннее, чем надо, из ящичка подмышкой кисти торчат, и только губы улыбаются: глаза острые, как нож, но от них не тяжело, а как-то легче становится, яснее все.

Задел сразу больное место. Варваре Петровне очень хотелось печь просфоры, но востроносая Антонина Васильевна, ищелука, обошла ее у отца Василия. На просфоры хорошую муку давали, и оставалось порядочно, понятно, но главное какой то почет, и к месту человек пристроен: все таки, просвирня. Варвара Петровна никому не призналась бы в этой мечте, и сама над собой подсмеивалась: даже такого почета достигнуть захотелось! Но вот и этой закутки не нашлось для нее. Да пожалуй, и лучше: бок болит, трудно было бы крутое тесто вымешивать, у печки стоять на шумной кухне. Она и в библиотеку теперь все реже ходит, хотя дорога обсохла. Весна уже идет, опять весна, Пасха, радость... благовест.

— Нет, просфорой угостить вас не могу, — улыбнулась она. — А вот сухарей к чаю насытила... выпейте кружку, настоящий.

— Чай не водка, много не выпьешь!

— Ну, тогда стаканчик налью. Сама не пью, но мне принесли самогону, и говорят, хороший.

— Про запас держите? На обмен?

— Нет, вот так, угостить... и бок себе натираю. А вы иконы у нас писать будете?

Он выпил и стал сворачивать бумажку с махоркой. Ящик с красками поставил рядом с табуретом, а из кармана вынул листы, свернутые в трубку, и разложил на столе.

— Посмотрите. наброски. Вот эту на иконостас думаю, справа...

Вокруг глаз у него наливались красновато-синие жилки, щеки обвисли, и по тому, как он опрокинул полстакана водки, Варвара Петровна поняла уже многое. А рисунки были своеобразны и талантливо: резкие, простые линии, глаза в потустороннем.

— Темпера — кивнул, затягиваясь и осторожно вытянув губы, будто свистя, пустил едкий дым струей к окошку. — Обещали масло достать для письма, но в крайнем случае яичную разведу, лики то всегда яичной краской писать лучше... вы чтонибудь понимаете? Я вас в библиотеке видал, кажется? Читаете?

Поговорили о художниках и писателях. Вкусы у Варвары Петровны были простые, знания средние, и многие называли бы ее мещанкой. Но художник смотрел иначе.

— Глаза у вас внимательные и... тихие. У матери моей такие были. Она с голоду померла тогда... Отца расстреляли, конечно, он флотским врачом был. Это так, для начала, путевку в жизнь дали. А потом я малевал в бригаде художников — коллективные портреты коллективных вождей. Веселые ребята были — то есть мы, подмалевщики. Вождей, слава Богу, одного за другим приканчивали, всегда новая работа была. Ну, еще картинки — для себя или знакомых. Происхождение не позволяло дальше пойти. Когда уже неумоготу — пьешь, конечно. Пропьешься, — опять пойдешь подмалевывать какогонибудь отца народов. Неплохо жил. На войне протрезветь пришлось: сперва посмотрел, как немцы евреям бойню устроили, а я на немцев, как... ну все равно теперь, как надеялся. А тут сразу к партизанам махнул, не мог стерпеть, хотя никогда мне до евреев дела не было, и не любил я их особенно, но от культуртрегеров затошнило. Партизаны, думалось, патриоты... а когда увидел, что они над живыми людьми продельвали, и над своими притом, так ухлопал двух, которые под руку подвернулись, и опять ушел. Попался корешок — вытянул меня в Берлин, представьте, а оттуда уже сюда подался, под союзников... и в первой же немецкой деревушке на негров наскочил. Шла со мной девушка одна из Берлина — наша, остовка. Красавицей

ее может быть и нельзя было назвать, но знаете, есть такие лица, которые изнутри светятся. Как посмотришь, так снова в Божий свет поверишь. Шел с ней и думал вот, что... поверю. Так вот ее в деревушке той... на смерть изнасиловали. Меня избили только, очутился потом. И в лагерь попал — как раз к выдаче, на третий день пулеметы поставили... ну, всех не увезли, а теперь — хватит. Доктор мне больше года не дает, рак у меня, не заразный, не бойтесь. Краски и водка остались еще для жизни. Я жизнь теперь к простым ценностям свел, и попросту, скажу вам, лучше. Вот и вы такая — обыкновенная. Какой Бог вас сделал, такими глазами на жизнь и смотрите. Мудрствования то от лукавого, не забудьте. Настоящие мудрецы просто говорят. И так во всем. А вам что, это нравится?

Варвара Петровна не ответила. Широко раскрыв глаза, она держала в вытянутых руках лист коричневого картона, на котором синей, коричневой и белой темперой был сделан эскиз Богоматери с Младенцем, — и молчала. Ничего не могла сказать, чувствовала, что если выдавить из горла слово, то не сдержится больше, закричит, упадет на пол перед этими глазами, все им расскажет, и свое, и чужое — ибо все они видят, вбирают в себя, держат в нерасплесканной чаше, уносят по ту сторону — людского добра и зла...

Художник еще раз посмотрел на нее, опять сложил губы, как для свиста, трубочкой, сам налил себе стакан водки, выпил и поднялся, собирая листы.

— Это — кивнул он, но она не видела его жеста, — возьмите себе. Хотел что то сделать. Знаю, что мог бы, если... ну, не дастся мне. А не по настоящему — не хочу. Пусть уж лучше богомазом останусь. Недолго ведь, и — хоть какойнибудь грех за коллективные морды со своей кисти смою. «Меня в твоих святых молитвах Офелия, о нимфа, помяни!»

* * *

Доктор сказал, что отправит ее на санитарной машине в больницу в город, на рентген, потому что у нее опухоль, и наверно придется сделать операцию. На дороге страшно трясло, без своей привычной «думки» щеки у Варвары Петровны мерзли. В больнице все пахло противной белой краской, больных было много, сестры заняты другими или другим. Рентген сделали так быстро, что она не успела опомниться. Почему то казалось, что снимать должны с такими приготовлениями, как в старину для дагерротипов. Мать рассказывала, сколько пришлось сидеть для портрета, где она в косичках, в пелеринке...

Места не хватало, больные дожидались очереди, о ней наверно забыли за ширмой. Подошедший доктор остановился с ассистентом, она видела, как чья то голова качнулась затылком над ширмой, и явственно послышалось среди слов: «карнизом»...

— Врач в лагере говорил, что может быть операция понадобится? — робко спросила она, когда доктор шагнул к ней из-за ширмы. Он снова покачал головой, но иначе.

— Он наверное думает, что мы здесь для того только, чтобы всех подряд резать. Нет, вам никакой операции не нужно. Можете ехать обратно, врачу я напишу, что надо, и если будут сильные боли, он вам на месте шприц даст, а вы постарайтесь, чтобы этих болей не было... да?

Молодой ассистент рядом с ним не умел так улыбаться, и ободряющих слов у него тоже не нашлось. Варваре Петровне хотелось спросить самой, какой же диагноз, но ведь так много больных, нельзя задерживать... и вдруг поняла, что такое карнизом. Мысль осветила все вокруг, как ножом полоснула, и высокую койку, на которой она лежала, отрезало вдруг от всего остального: воздуха, палаты, людей. Они будут еще долго двигаться, работать, болеть, дышать — а ей только вот этот отсек остается, считанные глотки воздуха, он тает и — кончится. Безнадежно.

Но мысль тут же погасла. Сердце не билось, а трепыхалось как то, и Варвара Петровна заторопилась домой. Всю дорогу лежала, поджав колени, и напряженно думала. Это ведь не так просто теперь — взять и сделать. В том, что сделает — не сомневалась, как и в том, что это для нее теперь — самое главное. Карнизом — раковая опухоль. Делать операцию не надо — значит, поздно. Да и для чего бы? Комната освободится для других, и нужна ли она самой себе даже — это тоже вопрос. Когданибудь надо же... Умирали и под землей и под пыткой. У нее хоть кровать есть. Только еще немного — чтобы успеть. А ведь и это — самообман — кому, кроме нее самой, нужно?

Шсфер презирал выбоины дороги, и гнал, оставив вперед белый конус фонарей. Сквозь тонкую стенку машины просачивался леденящий холодок ночи. Варвара Петровна упрямо смотрела в темноту сухими глазами и сжимала губы. Пусть. Все равно. Она не часто хотела чегонибудь в своей жизни, потому что знала, что желания все равно неисполнимы. Девушкой еще очень хотелось иметь гранатовые сережки — те старинные, чудесные серьги, которые носила тетка. Потом достались ей по наследству — и пришлось не носить, а хлеба на них выменять. Больше никогда не приходилось и вспоминать даже, какие уж там сережки...

Теперь загорелось желание. Художник не будет писать этой иконы — а она ее сделает сама. Кисти в руках ей не приходилось держать, и талантов никаких, но можно вышить. Самым простым — крестиками. Икону — крестиком? Никогда таких не бывало. А такие жизни, как у них, бывали? Ну, вот значит, все можно.

* * *

Заштопала чертежнику в лагере кучу носков, и он дал ей кусок кальки. Сетки на ней не было, и Варвара Петровна, двигая линейкой, проводила линии острым твердым карандашом, мельчайшую сетку. Тем же карандашом был переснят на сетку рисунок с эскиза художника, проведены линии теней. Их было немного. От такой работы заболели глаза, но теперь началось самое трудное. Материал.

Достать новый мешок для картошки на складе — немецкий эрзац из крученой бумаги вместо джута — это было еще довольно легко, выпросила. Но шерсть! И разных цветов!

Бок болел попрежнему, но она ходила, спрашивала, выменивала, прикидывая в уме цвета. Синяя детская кофточка, ее можно распустить — будет для плата. Коричневые носки с еще крепким верхом, и вот этот клубочек бурый — для ризы. Немножко белой шерсти, даже помягче удалось достать... Моточки, клубочки величиной с орех. Обрывки чего то вязаного, крючком и на спицах, домашней пряжи, домашней покраски... и несколько крохотных ниточек в сером спутанном комке, от цвета которых она чуть не вскрикнула — смотрят! Для глаз.

Когда шла к себе, с этим последним сокровищем, вспомнила ахматовское: «Боже, святителю Иоанну — жемчужин для слез достать мне негде...»

Та девушка, «у самого моря» тоже вышивала икону! Значит, и это было. Но — шелками, жемчугами, и в стихах. Не в лагере, на мешке старой шерстью. Но так было, а вот это — есть.

Во весь развернутый мешок выростали, крестик за крестиком, две фигуры: сперва темная ряса, рукав из под плата: три буро-коричневых оттенка. Тени шли уступами, как на древних иконах, в темь. Тусклый синий плат покрыл голову — только сбоку и надо лбом белые звездочки, и лицо тоже белое, из под него просвечивает мешок, и кажется, что оно светится. Черносиние громадные, яркие, все видящие глаза. Младенец тоже без улыбки — дитя, родившееся для страданий, и все знающее. Он тоже смотрит прямо перед собой — и все видит.

На нимбы не хватило уже шерсти, и бок так болел, что она не могла ходить больше. У художника тоже было не сплошь

нарисовано, а мазки, вот она и сделала их крестиками — разбросанно, они сливались, и бледно светились на мешке издали. Из остатков — орнамент, для рамы. Можно взять красноватую шерсть, она жесткая, но не гладить же ее, и еще желтоватой — вроде бронзы получается. Все цветы вышли не густые, цельные. а слинявшие, тень того, чем могли быть — как и жизни их, ее и других.

Иногда, когда Варвара Петровна закрывала полотенцем работу — она никому не показывала ее, прятала — то смахивала слезинки, и дышала быстро-быстро, проглатывая комок в горле. Но тогда ложилась, закрывала на минуту глаза, и бралась за книгу. Ей теперь приносили книги из библиотеки, она стала все реже выходить, и почти каждый день приходил доктор, давал шприц, или таблетку, чтобы заснула лучше. Она еще похудела, койка стала просторной, только спать на соломенном тюфяке было трудно, пришлось попросить еще одно одеяло, чтобы положить под простыню, и почаще перетряхать солому... раму для иконы тоже можно было бы из соломы сделать, как золото получится — но нет, это слишком радостный цвет, не для ее иконы.

Весна была теплая, окно почти весь день стояло открытым. Коля, сын соседки, взял ее консервную банку со стола, сходил в лес и вырезал кусок дерна, сплошь покрытого лиловыми пролесками. Так они и цвели дальше на столе, но бледнели, поднимаясь на тонких ножках к свету.

Тот же Коля, достав три гвоздя и выпросив молоток у столяра, встал на стол, сосредоточенно пыхтя, и прибил под самым потолком верхний край мешка. Гвозди торчали конечно, ими бы кровлю забивать, но он очень старался не повредить вышивки, забил аккуратно в самый край, и когда спустился, прижимая к груди молоток, и мешок развернулся до стола, закрывая собой весь простенок между окном и шкафом — Коля постоял и вдруг, сдернув с головы пилотку, с которой и ночью не расставался — сосредоточенно перекрестился, все еще не выпуская из рук молотка, и сурово сказал:

— Ее в церкву надо. Она смотрит.

* * *

На икону приходили смотреть, в комнату Варвары Петровны входили на ципочках. Она уже почти не поднималась с кровати. Доктор покрутил головой, постоял, тоже молча, перед иконой, и согласился:

— Могу понять, что вам лучше лежать здесь, и на Нее смотреть, чем в больнице. Ладно уж, приду лишний раз со шпри-

цем, а вы дайте знать через соседку, если понадобится экстренно... заходят ведь к вам? Что с вами поделаешь...

Последний пациент на приеме, задыхавшийся от астмы профессор, горько жаловался ему вечером:

— Разве это люди, дорогой доктор! Вы мне паек особый для больных прописали, диета у меня, не могу я есть тяжелого, сами понимаете... а они? ! Стою недавно в очереди, так ведь и толкнут, и позавидуют, что я свежее молоко получаю, а один, ну знаете, обычная небритая харя, да и сам мохнатый насквозь, так и ляпнул: «Профвессор... подумаешь! Мы здесь все равны — перед Унрой!»

Доктор весело хихикнул, но сразу осекся.

— Обстановка, говорите, и люди... А я увидел сегодня такое, что дух захватило. Икона лагерной Богоматери! И какая? На мешке, крестиками, грубой шерстью вышита — ну что, казалось бы, в этом? И кто сделал? Женщина одна пожилая, рак у нее, оперировать уже не стоит, последние дни дышит. Кто она — толком не знаю, но по всему видно, что просто обывательница, сколько таких. Не думаю, чтобы ей за всю жизнь чтонибудь выдающееся совершить удалось, даже и в голову не приходило, а вот под конец — сама наверно не понимает, что сотворила. Вы бы пошли, посмотрели. К ней многие приходят, и на всех — понимаете, на всех, и мохнатых этих ваших тоже так действует, что и шапки сами снимаются. И бессловесных прошибет. Именно такая икона, на мешке, о всех нас, наша, лагерная. Что в ней — выше понимания, и я вам не скажу тоже. Видел Васнецова, Владимирскую его Богоматерь в Киеве, Рублева знаю. Но — как объяснить? Соборы, фимиам, золото — это совсем другое, там шедевры живописи и должны быть. В нашем бараке жемчужные ризы не на месте будут, мы сами в мешечном рядне ходим, и жизнь у нас зрзачная, потому Она наша, что всех в Себе вместила, вобрала, и держит — только Она может удержать эту чашу, и донести ее!

Он снова оборвал, вынул сигарету, закурил.

— Не знаю, как вы, профессор, а я очень Врубеля люблю. Одна открытка у меня до сих пор сохранилась, с прежних времен еще, «Царевна-Лебедь», и вот в ней я странное заметил. Помните? Камни и скалы на берегу моря, выходит из воды царевна, лебединые крылья, фата, жемчужный кокошник, глазами синими смотрит, и все это по врубелевски написано. Но в другом дело. У нас ведь, с древней еще Руси — лебедь самая любимая народная птица, и самая светлая. В языке даже проследить можно — все ласкательные слова: лебедушка, лебедка, лебединая шея. Лебеди в орнаменте, на царских пирах в перьях на золотых блюдах подавались. А уж о сказках говорить нечего. Лебедь — символ любви к людям, мудрости, помощи, сни-

схождения, ласки — самый светлый образ. Заметили? Такой ее и все художники писали — кроме Врубеля. А когда он ее писал — Анна Павлова своего «Умирающего лебеда» создала, лебединую песню — не эпохи ли? И у врубелевской Царевны-Лебеди жуткие глаза. Будто видит она нездешнее, по ту сторону, то, что грядет сюда неотвратно — всю кровь, страдания, ужас — все, что потом и действительно наступило, только нам тогда не видно было. А она увидела, содрогнулась — и знает, что ни удержать, ни помочь не может... вместе с умирающим лебедем — странное совпадение, неправда ли? Но чтобы такое в глазах, крестиком вышитых, виделось...

На следующий день профессор, тяжело переводя дух, постучался в комнатку у церкви. Зашел спросить, не может ли помочь чемнибудь, присел поговорить, и замолчал. Только через несколько минут спохватился и обернулся к Варваре Петровне. Но она привыкла лежать и разговаривать молча, удивляясь тихонько, как же это так получилось: вот пока высчитывала, выметывала свои крестики — было все только рукодельем, которое так непременно захотелось сделать. А кончилась работа — и стала уже не делом ее рук, а чем то, что своей жизнью живет, и есть в ней что-то, от чего останавливаются другие. Не могла же она, Варвара Петровна, такое в нее вложить!

— Н-даа... — сказал профессор. — Я не знаток, но... и не в знании дело. Тут особые слова нужны. Нужно, знаете ли, видеть... чтобы такое увидеть суметь.

Уходя, он поклонился так низко как только мог, и взяв руку Варвары Петровны, по стариковски ткнулся в нее губами.

Варваре Петровне никто никогда не целовал руки. Она смутилась до слез. Но широкая спина профессора уже скрылась за дверью, хотя он долго еще стоял на крылечке, сморкаясь и шумно вздыхая.

* * *

Вечером на Страстной неделе пришли навестить из библиотеки целой гурьбой. В комнату не все поместились, открыли дверь и уселись на крылечке. Марья Ивановна принесла с собой тетрадку.

— Вот здесь, Варвара Петровна, про вашу икону написано, ей Богу. Это я у Алексея Акимыча переписала, он достал где то, и как увидела вашу вышивку, так сразу и подумала: это она! Я прочту, можно? Сама не пойму, что такое — не стихи, не песня, но вроде, и прямо так и сказано...

Варвара Петровна не любила пустенькой, взбалмошной Марьи Ивановны. Всюду мешалась, сплетни разносила... ну,

пусть. Раньше иногда ей трудно было молчать, но теперь и говорить стало трудно. Тронуло очень, что пришли, шоколаду ей принесли даже, хоть она его есть не будет. Соседка обещала куличик спечь и яйца покрасить к Пасхе пятюк, а Коля с Двенадцати Евангелий непременно свечку ей принесет, две в церкви держать будет, точно!

Из темноты за крыльчekom слышались молодые голоса, приглушенные восклицания, весенний вечер неслышно обнимал синевой, и звезды мигали в небе, как свечки. Из леса тонкой струей доносился запах: земли, свежести, клейких почек, и еще чего то, забытого, или не бывшего вовсе, но того, на что всегда надеешься, потому что поет в душе, захватывает тоской, уносит — в даль, в небывалое.

«Гает белый туман над низинами, над проталинами лесными, над реками, разлившимися мутным полноводьем, прячется в наклонившиеся ивы, жемчужным подбором осыпает пушинки верб.

«Это белый снег зимний, стаявший, отрывается от земли, последним холодным дыханием приникая к ней, напоенной, уходит в далекое небо, навстречу синеве весенней, золотому солнечному ливню, ликующей песне земли, медному колокольному гулу, ибо так же могуча и велика эта радость весенняя, как вечен прекрасный и грешный мир.

«И над всем этим — над талой землею, над полями и колокольнями, над вечерними огнями улиц, над синеватыми клубами великопостного ладана, — да и не над звездами ли, запрятавшимися глубоко — шествует, в холщевой ризе, смуглые руки опустивши долу — Богоматерь, идущая по синеве.

«Молится Сыну Своему Всемогущему за весеннюю землю, за огонь, сжигающий души, за сердца, выжженные до тла, за мечты распятые — за малое, малое, глупое человеческое счастье. Прости мя, Господи, научи мя оправданием Твоим!

«Ей, Господи, молимся Тебе: большие и малые, зверюги повилявшие, травы примятые, камни повыщербленные, люди с сердцами опустошенными.

«Не нас ради, разметавших дары Твои; не наших ради страданий и горестей, только в жизни нашей малой великих, только нам заслоняющих мир Твой; но ради душ наших покалеченных, за надежду несбывшуюся, за невыплаканные слезы — прости нас.

«И не нас ради, принявших и отдавших все — да и многое ли это все пред Тобой, Господи, — ради улыбки благодной, все простившей, все провидящей — Богоматери, идущей по синеве.»



Варвара Петровна умерла на пасхальной неделе. Последние дни в больничном бараке, везти ее в город не стоило. Доктор благословлял знакомого американца, пожертвовавшего из запасов военного госпиталя неподалеку достаточно морфия. Похоронили ее на кладбище соседней деревушки, где уж в самом дальнем конце выросли чужие здесь кресты с перекладиной. Батюшка написал имя на дощечке, а вышивку ее молча перевесил в церковь.

Потом собирались покрасить кресты масляной краской, но лагерь к осени расквартировали, уплотнили большой лагерь, часть людей перебросили дальше.

Через несколько лет, когда и этот лагерь был закрыт, другой уже священник отправил церковное имущество в Синод.

Крестик на могиле Варвары Петровны Рядовой к этому времени уже обветрился, посерел, покосился, и надпись на дощечке мог бы разобрать теперь только тот, кто знал о ней. Но кто помнил одну из тысяч других — незаметных, тихих, ничем не выдающихся маленьких людей?



Я никогда не видала пожилой женщины, умершей в маленьком лагере «Функ-Турм» около Гамбурга. Наверно, ее звали иначе, и жизнь у нее была немного другой — внешне. Я рассказала здесь только об одной безымянной, имена которых собирает Бог.

А икона ее осталась. Когда Синод переехал из Мюнхена, вышивка попала в обитель святого Иова в предместье города. Там и висит до сих пор под стеклом, в домовый церкви. К древним святыням, хранящимся в обители, прибавился и этот символ нашей жизни, совсем недавнего прошлого, и все еще настоящего для многих миллионов в лагерях — и здесь, и там. Это настоящее прошлое стоит рядом с нами, смотрит на нас из угла, куда брошено в хлам многое из того, что следовало бы всегда иметь перед глазами, чтобы не забывать о нем.

И о том, что каждый человек — каждый! — каким бы скромным и незаметным, обездоленным и слабым он ни был, может — и должен знать, что может! — создать в своей жизни — образ и подобие...

ЕЕ ЗОЛОТАЯ МАМА

Место действия: большой город в Западной Германии. Время действия: пятидесятые годы. Действующие лица: девочка Лиза, ее мама и их квартирная хозяйка, фрау Элизабет Шульц.

У девочки редкие рыжие волосы, приплюснутое личико и щербатый рот. Она похожа на рыбешку и такая же тихая. Хорошо учится, но молча не любит никого: ни остальных детей, ни учительницы, ни фрау Шульц. Любит только свою золотую маму.

Мама девочки — пухлая бледная блондинка с пышными локонами, голубыми невинными глазами и ямочками на щеках: Она казалась бы совсем куколкой, если не тяжелый, твердый подбородок, и голос, который вдруг переходит из жалобного воркованья в холодную хриплую жуть. Это бывает, когда она говорит по телефону. О чем говорит, девочка не понимает, — только отдельные, неинтересные слова. Но она понимает, что все они только мучают бедную маму, хотя иначе нельзя: зато они прилетели сюда на самолете из Берлина, живут в хорошей квартире, и она часто ест шоколад и свои любимые бананы.

Иногда мама бросает телефонную трубку, щелкает пальцами, закуривает папиросу, и хлопая себя по широким бедрам, вдруг неожиданно говорит по русски:

— Здорово я его отделала! Будет знать, как язык распускать, зараза!

Или:

— Ловко я им все таки закрутила!

Мама очень редко говорит по русски с девочкой. Та уже привыкла говорить и с ней, и с фрау Шульц, конечно, по немецки, как в школе. Стала уже плохо понимать по русски, и только иногда говорит сама, чаще всего перед сном:

— Мама, а где папа?

— Этого ты не должна спрашивать! — Мама хочет рассердиться, но машет рукой. Только раз топнула ногой и прибавила: — На той стороне! — и рассмеялась почему то.

Девочка сама не знает, почему она спрашивает, потому что путает: это тот, толстый, в высоких сапогах с золотыми дощечками на плечах, или другой — с голубым галстуком с красными точечками? На коленях она сидела у того и другого . . . маму не надо спрашивать: мама ее очень любит, покупает ей красивые куклы, платье, приносит шоколад и бананы. Она лучше и красивее всех, ее золотая шака!

Фрау Шульц одобритительно кивает головой. Девочка очень привязана к матери, и та ее любит и так внимательно заботится о ней, несмотря на . . . несмотря на многое.

Фрау Шульц — высокая, немолодая женщина с сильной проседью и тонким застывшим лицом. Она давно привыкла сдавать две комнаты в своей тихой квартире, и совсем не такой «дракон», как многие хозяйки. У нее жили уже чехи, русские, американцы. Она убирает все комнаты сама, стирает белье своим жильцам, готовит им обед, завтрак, и вот сейчас присматривает и за маленькой Лизхен — отводит ее в школу и укладывает спать, если матери нет дома.

Фрау Шульц не любит только, если жильцы заходят к ней в комнату. Раньше это была комната сына. На стене висит его увеличенный портрет — молодое, красивое лицо с такой веселой, живой улыбкой. А под ним другой снимок, совсем маленький: горка земли с крестом, и шлем на кресте. Снимок прислали тогда товарищи из русского города, который называется «Орьел», — все, что осталось. Первый год она постоянно брала в руки обе фотографии — и никак не могла понять, как же это так: вот и все. Весь сын. Ни докторского экзамена, о котором так мечтали они вместе, ни . . . ничего больше. И никого.

Перед портретом на низкой книжной полке всегда стоят две, три вазы с цветами, или просто ветками. Фрау Шульц долго подбирает букеты, устанавливает их, любясь оттенками, и ей всегда кажется, что это — как молитва. Без цветов она не смогла бы жить в его комнате. И еще — книги. Она всегда читала вместе с сыном, и теперь тоже ходит каждую неделю в библиотеку, а некоторые книги покупает, хотя они дорого стоят.

Поэтому у нее мало времени для разговоров с соседками, и те считают ее чужой и непонятной. Так и лучше. Книги и цветы научили ее многому, но всего понять все равно нельзя. Почему молодая русская женщина, например, называет свою дочку «Майне Клайне», — моя малютка, а не по имени, и говорит с ребенком на чужом языке, которым сама владеет очень плохо. Фрау Шульц называет девочку Лизхен, как ее самое когда то звали в детстве. Лизхен — тихий, не очень привлекательный ребенок, но не все же могут быть такими красивыми, умными, добрыми, веселыми детьми, как . . . как тот, на портрете. О девочке не стоит задумываться.

Зато о матери фрау Шульц думает долго. Мистер Джонсон очень обрадовался тогда, когда встретил ее на улице, и она сказала, что у нее освободились как раз комнаты. Он сам жил здесь одно время, и остался очень доволен «дискретным отношением», как он говорил. Платить будут за комнаты они, и может быть она немного присмотрит за девочкой, когда они найдут этой бедной молодой женщине службу?

Как только мистер Джонсон сказал «мы», фрау Шульц поняла, что речь идет вряд ли о его подруге. «Мы» это было разумеется, то учреждение, в котором служил мистер Джонсон, и фрау Шульц могла только догадываться, что это такое.

Потом не надо было догадываться: молодая женщина получила работу в какой то библиотеке, как она говорила, и ходила туда аккуратно, но иногда, в самое неожиданное время, за ней приезжали на машине, и ее увозили — за город, в другие города. Возвращалась усталая, с кругами под глазами, взволнованная, не могла даже больше курить, и часто, отмахнувшись от принесенной фрау Шульц чашки горячего чаю, вынимала из шкафчика бутылку водки и пила стакан или два залпом.

Фрау Шульц давно научилась от иностранцев пить не только кофе, но и крепкий, душистый чай, а не жиденькую водицу по немецки, но водки пить не могла, и каждый раз удивлялась: такая молодая женщина, хорошенькая и женственная, и не уличная вовсе..

— У нас на работе нельзя было иначе, привыкла! — объяснила наконец та. Фрау Шульц читала иллюстрированные журналы тоже, и во многих из них печатались жуткие и интересные истории, написанные по фактам, о людях, которые занимались такой «работой», особенно во время войны. Это подтверждало все ее наблюдения, и она не задавала вопросов, конечно. Только внимательно разглядывала кукольное личико, тяжелый упорный подбородок, и старалась понять что-то, чего она сама не могла бы объяснить толком.

Молодая женщина жила прилично, и была одинока. Наверно, очень одинока, — потому что иногда вдруг схватывала фрау Шульц за руку, раскрывала широко и без того громадные голубые глаза, и шептала ей странные вещи, совершенно неожиданные в своей откровенности: может быть, из-за водки?

— Вы ничего не понимаете, фрау Шульц. Я уж из такой семьи... У нас вся семья работала в НКВД... ну, да вы знаете, где. Отец, братья... только мама нет. Когда меня первый раз послали в Берлин, и я вернулась в Москву потом — ах, как на меня смотрели все! Мама, так та только просила: надень сегодня вот это платье, пусть завидуют... все мои клипсы считали настоящими золотыми, подумайте, какая чушь! А я так радовалась, когда попала в Берлин — ах, если бы вы знали, какой

город, какие магазины! Я была в торговой комиссии, а в Москве до того в Особой школе, где нас учили по немецки... Если бы была старше, пошла бы во время войны в партизаны, а так не успела, жалко. Вот и пить привыкла на работе, меня брат научил. Когда получишь задание, так сперва один стакан, другой, иначе нельзя, понимаете? Только тогда приходишь в настоящее настроение... Но что такое настоящая жизнь, я узнала только, когда мы перешли... в другой сектор. Жаль, что там нельзя было остаться подольше — ах, я так люблю Берлин! Здесь что — почти деревня. Но больше нельзя было. Ами мне сказали: мы доставим вас на самолете, с ребенком, в тихое место, и вы будете в безопасности. Сперва я жила в таком... пансионе, скажем, и только говорила, говорила... У, как я много знаю! Ами называли меня даже: «мисс майор!» Столько я им рассказала! Не всякий может столько... и они поверили, что будто это действительно все, что я знаю! Ну теперь что ж... В библиотеке работа негрудная, я на картотеке, ко мне хорошо относятся, и я стараюсь тоже, хотя это на время, конечно. И платят хорошо, еще бы! А когда меня вызывают — знаете, приезжает машина... так это если они не поймут чегонибудь, или ктонибудь новый появился, очная ставка, и вообще... для биографии. И каждый раз за это отдельная плата, представьте. Я кладу деньги в банк, хочу поехать в Париж, когда будет отпуск. Вы никогда не были в Париже?

Такие монологи бывают редко, только когда молодая женщина чем то очень взволнована, и нервничает, или выпьет больше обычного, и каждый раз после них фрау Шульц долго не спит и думает: как же так? Она русская, училась в Москве, в особой школе, была прислана в Берлин, потом перешла в западный сектор... до этих пор все можно понять. Но как же теперь — тоже работает? Для кого? Но задавать вопросов не стоит, ответа все равно не получишь.

* * *

— Моя мама сегодня совсем золотая! — восхищенно сказала девочка и осторожно погладила пышное платье: — совсем золотого цвета! Ты, мама, как бабочка!

— Если будешь умницей, рано ляжешь спать, а завтра принесешь мне хорошие отметки, то получишь большую коробку шоколада! Вы уложите ее, фрау Шульц, да? Сегодня я хочу повеселиться, меня пригласили на рождение к одной коллеге из библиотеки. Как вам нравится это платье? Очень дорогое, органи и шелк, но я его все таки купила, и туфли к нему, и сумочка, правда, подходит? Ах, если бы меня могли видеть те-

перь — дома! Не знаю, почему я сегодня так волнуюсь... прямо места не нахожу. Даже руки дрожат. Да нет, никаких причин нету — никаких! Просто так...

Она вернулась поздно, но уже с полчаса ее ждала у подъезда та, другая, служебная машина. Фрау Шульц проснулась и видела, что она даже переодеться зайти не успела — так и пересела с одной машины на другую.

Появилась только через три дня, к вечеру. Лицо от бессоницы было серым, золотистое платье сверкало из под пальто полоской солнца, но фрау Шульц подумала невольно, что «бабочка» похожа на изжеванную гусеницу. Каждый раз, когда она видела такие, особенно пустые и холодные глаза на кукольном личике, фрау Шульц казалось, как будто грязная скрюченная рука душит ей горло, и хотелось скорее уйти в свою комнату, закрыть дверь и не думать об этом.

— Лизхен принесла очень хорошие отметки — произнесла она, чтобы чтонибудь сказать. — Но она уже спит.

— Положите ей под подушку вот эту коробку, я обещала и купила по дороге... Чаю? хорошо... да пойдите сюда, фрау Шульц, выпейте, не ломайтесь, чего в самом деле... ну пейте, вот так. Я вся еще трясусь, видите? Говорила вам ведь тогда, что волнуюсь, и уже знала в чем дело, только сказать не могла. А так и получилось: двое наших засыпались, старые товарищи, понимаете, еще в школе вместе были, а потом в Берлине. Только они остались там еще, а я сюда пришла... Ну, а теперь они попались, и один, паразит, раскололся! Тот самый! Меня здесь восемь месяцев допрашивали, и думали, что я им все так и выложила! Чорта с два! А этот... сразу! Попался бы он мне...! Ну выпейте, по нашему пейте, хорошая водка. Я тогда с ним тоже так стаканчика два-трихватила, когда мы пошли на задание... ничего особенного, пустяки: надо было двух амишек увезти, но в первый раз для меня такое, так я волновалась немножко. Американский лейтенант, красивый такой, голубоглазый, и еще один с ним. Встретились в двенадцать часов, солнце светило, а мы будто обедать собрались. Потом наша машина подъехала, я их пригласила сесть, ну и покатили. Только они быстро поняли, в чем дело, ворочаться стали, и мы в такой переплет попали, что пришлось их прижать сразу... Вы что смотрите так? Это же работа, раз мне поручили, так что же... потом, когда я сюда перешла, то рассказала много, но об этом, понятно, ни слова, потому такое дело было, во всех газетах, никто не знал... и не узнал бы, если этот гад не попался. Ну, теперь разговоры. Не знаю, что еще они со мной придумают, пока отпустили, но я не верю, а пока только удивлялись, как, говорят, вы так долго держаться могли, ничего не сказали... Я смеялась даже. Не таковская!.. Ну, теперь спать, устала

страшно, и на службу не пойду завтра, все равно теперь... а шоколад положили? Такая дорогая коробка, но она заслужила ее, майне Клайне!

* * *

Фрау Шульц не может заснуть. Она не может понять. Она даже не потушила лампы. Чья то рука душит ее за горло, давит, выворачивает грудь. Она бежит к умывальнику, садится на кровать снова, ей страшно от того, что ее тошнит. Она же только делала вид, что пьет водку из стакана, это просто нервы...

Она закрывает глаза, но снова видит перед собой солнечную улицу, голубые девичьи глаза, может быть и платье желтое тоже, и двух молодых людей в форме, они улыбаются — так же, как портрет на стене. И от них тоже остались только портреты — у их матерей. Даже другого снимка — с крестом — не будет. Они ведь не на войне погибли, их просто «прижали». Такого слова нет по немецки, такого слова ни на каком языке не смеет быть, не смеет, не смеет быть!

Ты видишь, Господи, Ты судишь, Господи!

* * *

— Чушь — вздыхает молодая женщина в другой комнате, переворачиваясь на бок.

Девочка тоже еще не спит, только делает вид. Она прислушивается к неровному дыханию матери, нюхает большую коробку шоколадных конфет, разглаживает губами пышный бант, и шепчет в темноту:

— Желтый, как бабочка... золотой, как бабочка... как моя золотая мама!

ПОДАРОК АНТИКВАРА

Эмилия ни в чем не стесняла его, наоборот. Он даже прочел, — ему казалось, в угоду ей — роман Курт-Малер. Вообще читал не часто, и больше по истории искусств, для пользы дела. Для себя интереса не было. Роман взял потихоньку вместе с другими томами у знакомого книжника в ларьке. Раньше издавали на хорошей бумаге, до сих пор осталась гладкой. Курт-Малер не признает ни один критик, а знают ее все. Писала только о светском, благородном обществе. Может быть, Эмилия все таки неправa, не все было тогда так благородно?

Читал внимательно, хотя сразу увидел, что роман довольно смешной в наши дни, и глупый, написан по старомодному, самыми обыкновенными словами. Впрочем, так говорят еще и теперь, кроме, может быть, академического общества и разных интеллектуалов, и если отбросить вульгарный жаргон и модные словечки. Но не пишут. Пишут теперь гораздо непонятнее, но если не обращать внимания на наносное и лишнее, то получается то же. И не только слова: человек тот же. Но искал не это сходство: страницы о добродетельной бедности перевертывал сразу, а вот разговоры в именах, замках, и на бальном паркете: устроит ли баронесса сцену ревности своему мужу, какие слова скажет графиня, когда пьяница муж пропьет последнее имяние?

Можно даже без таких крайностей: все дворяне были, в конце концов, живыми людьми. Были у них свои драмы, пусть некоторые и смешные теперь, но огорчались то они тогда всерьез. И сплетни и интриги были, еще как, и вообще... Почему же они двигались по паркету иначе, чем остальные по крашеному полу, и если продавали этот паркет, то и по крашеному полу должны были иначе ходить, не могли не иначе?

Ни за что не признался бы Эмилии, что читал Курт-Малер. Но прочел в результате не одну, а три книги, и даже понравилась мысль: если бы авторша знала, что будет когда нибудь выискивать в ее книге совсем неожиданный читатель... то, может

быть, написала бы умнее, и еще о чемнибудь другом, кроме любви до гробовой доски. Но то, что он искал, он то знал, все таки!

— Эмилия — сказал он однажды, — мне кажется, теперь я тебя понял вполне. Ты хочешь взять из прошлого то лучшее, что в нем было, и сохранить это в настоящем. Скажем, раньше приходили в ужас при одной мысли, что можно сказать чтонибудь, что «не принято», или сделать такое. Смешно, конечно, что женщине нельзя работать, а только выйти замуж, или идти в гувернантки, или я еще не знаю что. Но с другой стороны не было принято и говорить что угодно. Требовались сдержанность, хорошие манеры, корректность во всех случаях жизни. Вежливость. Считались с другими. Вот и ты. Ты совсем не старомодна, а просто у тебя хорошие манеры.

— Вежливость и состоит в том, чтобы считаться с другими, ставить себя на их место, и не задевать их чувств, хотя бы и в ущерб себе — отозвалась Эмилия, и он подумал, как часто она сидела вот так, за пальцами, и кропотливо чинила ему старинные гобелены и вышивки, долгими вечерами, когда он отправлялся на партию в карты в свой винный погреб. Она не понимала, как можно было часами сидеть в накуренном помещении на деревянных скамьях, потягивая вино, перебрасываясь десятком слов с давно знакомыми и все таки чужими людьми, и объевлять пики или трефы. Но если ему нравится...

Принимала, как должное, и его уходы, и свою скуку. Они шли в жизни вместе, но нельзя же, чтобы один человек совершенно входил в другого. Вместе — это только уверенность в другом человеке, а жизнь проходит у каждого по разному. В этом строгость человеческой свободы.

... Монашка обернула ей подбородок и все лицо в рамку желтоватой, как пергамент, бумаги, как в монашеский чепец или шлем. Поторопилась — он не должен был этого видеть, потом шлем сняли, конечно, когда лицо уже закоченело — совсем...

... Вежливость была еще и в том ее «как бы». Как бы только избавиться от комка в груди, вздохнуть без кашля, мучительного, до задыхания, надрыва, тошноты. И тогда все переменится, можно будет вставать с кровати, хоть понемногу, избавиться от мятых, пропахших болезнью простынь, от всего мерзкого, связанного с каждой затяжной — безнадежной — болезнью. Наверно надеялась, когда говорила, будто извинялась — что ж, она совсем еще не так стара, мать ее умерла недавно, глубокой старухой... думала, наверно, что тоже... И говорила, не ожидая утешения, хотя он отвечал совсем бойрым голосом, даже не позволяя себе думать иначе, и действительно — с чего бы ей умирать? При теперешних лекарствах, прогрессе медицины...

Потом перестала говорить, даже было видно, что открывает рот, чтобы сказать, и останавливается вдруг, еще не усвоив другую мысль, но уже догадываясь, предчувствуя, зная.

И этот последний вопрос в больнице уже, в последний день, как только он приехал, со своими несчастными лилиями: «Ты принес мне . . . ?» И рассердилась, нет, разгневалась, что не понял сразу, что ему надо было привезти. Ей так трудно было уже говорить и справляться с собой. Не рукой, только пальцем шевельнула: «Морфий . . . чтобы скорее». И уже не нашлось больше слов, что это глупости, что она выздоровеет, больница это только так, пока. Хмуро прошептал: «нельзя, грех» — без убеждения. У нее уже задергивались мутой глаза, но раскрыла их, нахмурила брови, и внятно сказала: «можно».

Почувствовал, не мог не почувствовать, что ей — да. Можно. Вот этой темноволосой старухе с отвисшей грудью, в халате, которую встретил в коридоре, — какаянибудь лавочница или жена мастерового — нельзя было бы. А ей, последней Либиенталь, — дочери рыцарей, воевавших за веру, строивших храмы, бывших на ты с королями, смертью, Богом . . . можно. Может быть, и это — последняя вежливость: избавить людей скорее от себя, не тянуть, не мучить, мучаясь самой.

Стало мучительно стыдно, что не посмел, провинился, потому что не броситься же сейчас искать, да и где? В аптеке? Даст ли знакомый провизор? Врач не даст. И теперь уже поздно, остались считанные часы. Трусливо пытался утешить, что завтра попытается достать . . .

Когда она забылась, стоял у окна, смотрел на дерево: темной сепией на желтоватой стене, и в голубом снегу . . . думал, что вот пишут художники такие картины, писали их раньше, теперь они считаются старомодными, — а мы ведь видим их вокруг, на самом деле, всегда были те же деревья, снег, именно их и чувствуем больше всего . . . За спиной она дышала медленно и громко, клокоча горлом. Сестра в приотворенной двери подозвала кивком, в коридоре доктор взял его под руку, проводил в зеленый кабинет, налил коньяку: «Посидите, отдохните здесь, она спит.»

Обычно бывает так, что из двух людей, живущих вместе, один умирает раньше другого. Миллионы. Какое ему дело до миллионов других? Обычно . . . а ей было бы легче, если он . . . ?

Подумал, что потом, когда кончится, надо будет что то делать, распорядиться. Отодвинул мысли — стыдно. Вошел снова, тихонько, и увидел сразу: вот почему она прятала сумку, там наверно было припасено, давно уже . . . две стеклянных трубочки. Как ей было трудно наверно проглотить все эти таблетки, она глотала с таким трудом . . . Пустые трубочки лежали в

складке одеяла. Успела еще дотянуться до лилий в вазе, очевидно, хотела взять одну. Ваза упала на столик, осталась лужица и лилия, уроненная на руку. На желтой, совсем темной, мертвой руке — белый королевский цветок. Последний.

Боже мой, Боже мой — только и мог сказать. Прошептал тихо, а показалось гулким и страшным — хотя, что могло быть уже страшным теперь? Оглянулся на дверь — не идет ли сестра? Она еще дышала, смотрела на него — видела ли только? И вдруг рухнул на колени, зажал крик: «Прости!»

За все: за то, что не принес морфия, настоящего. Было бы легче, чем эти снотворные: и за то, что не позовет сейчас сестры, спасти — от чего? Нет, она может поступать, как хочет, как должна.

Пергаментная бумага, полоска вокруг головы, бинтованный шлем...

Хлопоты. Другой день, и так же в снегу дерево за окном, такси у подъезда, старуха бредет, шлепая туфлями, по коридору, покачивает узелком жидких темных волос на затылке. Может быть, она выйдет из больницы, а может быть, и ее увезут на колесиках, покрыв простыней, и будут быстро убирать кровать, открывать окно, выхлопывать запах. Лилии в вазе — сестра поставила ее в угол, подлив воду — свернулись сразу, потемнели. Старенькая сумка с такой холодной кожей, какие то мелочи, нужные до сих пор, а больше ненужны, слипшиеся записочки, квитанции, карточки в стиснутых перегородках, зеркала, гребешок, два последних письма от кого то... И дома будет много таких ненужных больше вещей, белья, платьев, шкатулочка с бережно хранимыми драгоценностями для парадных случаев... сколько их было в жизни, когда надевалась эта скромная фамильная брошка? Только часики на золотой цепочке носила всегда: крохотные бриллиантики в короне, а с другой стороны лилиенталевский герб, золотой щит на темно-синей эмали...

В ампирном секретере, в магазине, у него девять штук таких и вроде, часиков с гербами и без. Положить к ним еще десятые? А что же страшного в этой мысли? Те ведь тоже принадлежали когда то другим. Доставались молодой девушке от бабушки, и розы и грезы вместе с ними. Вырезанные на золотых крышках имена и даты не должны были стираться в памяти. Только память эта сама стерлась, высохла в черепахе, от нее ничего не осталось, и от наследников тоже. Вот те хотя бы часики, рококо — и самого рода этих маркизов нет больше, затерянные строчки в архивах. Кто знает их, кому они нужны? В сущности, и ему, антиквару, не нужно тоже: достались огулом, от прежнего владельца магазина. Любителей мало, продать трудно, во-

зиться не стоит с переделкой... зачем? Торговать, собственно, надо таким товаром, который продается.

Думал почему то об этих часиках, навязчиво и как то скучно. Вокруг появились разные люди: гробовщик, какие то старухи у Гертруды, надевшей черный передник на обычное черное платье, и ставшей полновластной хозяйкой в доме. Впрочем, кому же: она у них лет двадцать, все знает. А вокруг него отгороженность человека, у которого большое горе. Как будто от того, что стоявший рядом с ним шагнул за порог в неведомое — и сам он заглянул туда, стал тоже особенным, что-то увидевшим, сам может разбиться от земного, слишком земного света.

Солнца не было: туман или снег. Горя не было: всегдашнее чувство вины теперь острее, потому что неизгладимо. Страшная тяжесть от этих последних часов в больничной палате, и от того, что они оказались совсем другими, чем — не ожидал, конечно, а иногда мелькала смутная мысль — раньше. Нет, не боялся смерти. Что значит: не боялся? Каждый боится. И совсем не хотел умирать — недавно, во время войны, и еще раньше, на фронте, когда был молодым. Было страшно — конечно. И еще будет — когда и к нему подойдет это. Конечно, все тоже отодвигают эту мысль — пока. Смутно чувствовал все таки некоторый интерес к тому миру, который за этим. В том, что ожидает, не сомневался, как и в Боге.

Может быть, верил не совсем так, как полагается по церковному, но много не задумывался. Внимательно слушал в церкви, и чувствовал себя там хорошо. Храм — это место, где подводишь итоги, по настоящему пересматриваешь жизнь, стараешься снять с себя плохое и наносное. Ходить в церковь каждое воскресенье приучила его Эмилия. Когда она совсем уже была больна, слушала дома проповеди по радио. Так вот, для себя надеялся, что когда это придет, то будет время подумать. Хотя в погребке под налетами не думал, только хотел, весь ушел в желание прочесть еще раз Отче Наш. Но думал, что если бы умерла Эмилия — то просидел бы около нее, мертвой, слышащей его уже по иному, и рассказал бы ей все. Легко рассказывать, когда все понятно без слов. Живые не могут так слушать, видеть, знать.

А вместо этого — мучительная отгороженность. Не та, которую создают другие — приглушенными голосами, опущенным абажуром, вопросами о здоровье, утешением. Даже незнакомые. Когда, кому было дело до этого. Нет, отгороженность Эмилии. Мучительная двойственность. Одна она — привычная, настоящая, все куски и кусочки его жизни вместе с ней — и ведь если разобрать по настоящему, то своих отдельных кусочков так немного было, а вот теперь оказывается, что ничего не остается отдельно, самому с собой. И другая, — вот эта холодная, ушед-

шая в недоступное, корректная, вежливая, мертвая Лилиенталь. Ее возьмут, будут делать что-то, что полагается, а он уж сам ничего не может сделать, только тем, что она оставила может распоряжаться.

Часики. Синие эмалевые часики с радужными брызгами коронки. Круглая коробочка из золотой жести, ненужная никому. Как девять других, в ящике секретера...

«Старьевщик!» Кто это сказал? Курт. Веселый, деловой, с гладко прилизанным пробором, заметным брюшком, теплыми, уверенными руками. Он всегда говорил по телефону, и вокруг него трещали звонки, гудели моторы, шуршали плотные банкноты, дела, дела, дела. Курт не любил задумываться над жизнью: любил потянуться сладко, выпить рюмку коньяку, выкурить сигару, провести время с хорошенькой женщиной. Над остальным только похохатывал, похлопывал по плечу: «Старьевщиком хочешь стать — ха-ха!» кричал он на весь ресторан, когда Конрад рассказывал ему свои планы — сколько лет тому назад? Тридцать пять? Сорок? «Быстро состаришься с таким хламом! Никогда еще молодого антиквара не видал! Брось лучше — линючий товар!»

Бросить он не мог из-за Эмилии, хотя никогда не говорил ей об этом. Как и о многом другом: стеснялся. Но, иначе — что он мог предложить ей, последней Лилиенталь, достойного — он, маленький не купец, а торговец, скажем просто: мелкий спекулянт? Таких, как он, было тогда, во время инфляции после Первой мировой войны, тысячи. Коробка спичек продавалась за миллиард марок, а за крепкие чужие доллары, фунты и швейцарские франки шло за бесценок на улицу все: имения, особняки, замки, ампир и барокко, обручальные кольца и фамильные бриллианты, чудосочные аристократки и наглые бубикопфы с длинным полусветским мундштуком.

С экрана улыбалась подведенными до жути глазами бледная Пола Негри, мужчины поддегивали узенькие брючки над острыми носами тувель, рухнувшая Германия трещала и клокотала, и вереницы озлобленных безработных прислушивались хмуро к фокстротному джазбанду из ночных баров. Все легело кувырком, и последние Лилиентали вместе с другими последними очутились на дне, на них карабкались новые, тыкали их локтями, плевали в лицо.

Он не испытывал склонности расталкивать других локтями от природы: застенчивость, может быть, неуверенность. Иногда завидовал даже какомунибудь дымящему сигарой, плюющемуся долларами «Раффке» — так презрительно назывались тогда разбогатевшие выскочки. Прекрасно разгадывал их молниеносные комбинации, втайне одобрял даже — но сам предпочитал оставаться порядочным. Отчетливо щелкал каблуками чуть

старомодных ботинок, любезно склонял на бок тщательный, в меру кривой пробор. Очки носил простые, а не совиные, под Гарольда Ллойда, и всегда держался прямо, соблюдая достоинство и сдержанное участие. Так, по его мнению, должен был держаться его идеал — суховатый лейтенант с седеющими висками и влитым в глаз моноклем.

Этот лейтенант выскочил идеалом совсем неожиданно, как чортик из коробки. Вышел из-за угла с кем то, тоже необычной личностью на их улице, прошел мимо, блеснув моноклем, поднял голову, процедил сквозь зубы: «Чистый Шпицвег, очаровательный уголок», — и прошел дальше, оставив след на всю жизнь.

Позднее Конрад узнал, что Шпицвег был художник, и его стиль — такие вот закоулки старых улиц: неровная площадь с разными углами, старое дерево, горбыль изогнутой кренделями крыши дома, где в каждом этаже помещалось, вероятно, только по одной комнате, а в мезонине горел золотистым уютом фонарь. Свет падал на примятый сумеречный снег под оголенным деревом, — и над домом, на пригорке, вырываясь из проулков, крыш, взлетал к небу туманный силуэт двух соборных башен. Шпили прорвали тучи, луна осторожно обходила их, боясь зацепиться, запахивалась в облака, как повисший фонарь, а туман, волшебный, дурманящий, ласкался к башням, улетающим птицами ввысь.

Внизу, в закоулках — Конрад прекрасно знал это, — в лавках пахло пивом, керосином, ситцем и селедками. К карамелькам лили пропотевшие бумажки, под прилавками лежали разбухшие узкие книги, и в них долго, со вздохом, поджатými губами и недоверчивым подсчетом записывалось «на мелок». До полочки. До субботы. А иногда не записывали, и приходилось просить. Иногда из пивной выталкивалась пропахшая сизым дымом фигура; женщины с корзинками и девченки, хихикая, шаркались в сторону.

Да, внизу, на «Шпицвегской» улице горланили хулиганы, попадались подозрительные личности, вроде старьевщика — к нему приходили воры, — и упорно цеплялись за жизнь все остальные, считая, считая, считая... каждую медную монетку, кусок сахару, оторванную пуговицу — все. А собор рвался ввысь, и как бы ни гудели колокола, мальчику Конраду слышался в них не орган, а звон труб, и рыцари въезжали под своды, и не Мадонны, а прекрасные дамы обмахивали плиты шелковыми шлейфами. У него оставалось очень мало времени для мечтаний, а спросить он боялся: как мог заблудиться этот взнесенный замок среди пивных и мелких лавчонок? Ведь город — большой, красивый, с настоящими дворцами и башнями был совсем далеко. Потом узнал, что город подполз потихоньку, опутал окраин-

ными пустырями, домишками, домами, смел мусор и щепки со своих площадей сюда, в бывшую деревню, поместье каких то давно исчезнувших Лилиенталей, выстроивших когда то собор.

Но собор, кутающийся в туманы под луной, пронзил не только тучи: сердце, и навсегда. Грошковые расчеты, мышьяная возня, крохотная жизнь крохотных людей, нищета — все его детство и юность слились в серовато-желтую муть, осадок. Он не стыдился его, но выплескивал из сердца без всякого сожаления. Но говорил: «Я родился в тени соборных колоколен» . . . и был искренно доволен этим.

. . . как старинный убор монахинь, белым платом, охвачен подбородок, щеки, все лицо . . . полоса желтоватой бумаги, охватившей лицо Эмилии. Шлем смерти.

«Старьевщик!» Нет, антиквар, — это существо, обособленное от современной дешевки, невежества, шума. «Линючий товар!» Так могут рассуждать только выскочки, боящиеся поцарапать свой ямарочный лак. Побогаче, впрочем, люди любят хвастаться патиной времени на музейных вещах. Они слишком дорого заплатили за них, чтобы чтонибудь понимать, — но достаточно, чтобы похвастаться.

Понимать его научила Эмилия. Сама она не строила планов — но создала ему. С того момента, когда он вошел в квартиру — целый этаж в квартале богатых вилл — в квартиру старого графа, бывшего профессором истории искусств. Вдова не получала больше пенсии, и распродала вещи и толстые тома об изгибах ангельских крыльев. В квартире было слегка темновато от заросших деревьями полукруглых сводчатых окон, и пахло, как от резьбы: чуть деревом, чуть пылью, а усталостью больше всего. Худые, поникающие плечи Эмилии, и то, что она старалась держаться прямо — пронзили его, как стрелы соборных колоколен. Но тех он не мог бы поддержать, если бы они падали.

А как — ее? Он умудрился продать портсигар покойного графа из русской эмали за золотой, получив вместо двух фунтов — девятнадцать, и отдал их все. Он предложил по доллару за уроки истории искусств, по этим самым книгам, когда на доллар можно было жить безбедно две недели. Высокая, светловолосая, светлоглазая девушка только слегка заглядывала в толстые тома. Она разбиралась в стилях с детства, это было своим, привычным, как накрахмаленная юбочка и французская гувернантка. А его мальчиком взяли на войну, и надо же было выучиться хоть чемунибудь . . .

Так он стал антикваром, смущаясь слегка от обилия вышивок, гобеленов, картин, смотревших на него далекими холодными глазами портретов, гнутых ножек, о которые спотыкался сперва. От смущения за свой, всегда казавшийся кургузым почему то пиджачок, и слишком молодые, полные щеки, отчего

маленький носик походил на приплюснутый клюв птицы. Но рыцарское имя Конрад, звучавшее орденским магистром, почему то казалось теперь оправданием.

Нет, Эмилия совсем не «снизошла» до него. У нее был трезвый, ясный ум. Воспитание утончило, а не искалечило ее неприспособляемостью к жизни. Впрочем, судя по отрывкам воспоминаний об отце, тот воспитывал ее своим сыном — современным, стоящим только одной ногой в прошлом. Таким же, наверное, был и настоящий сын, погибший на войне. Эмилия, особенно в молодости, решительно пыталась даже отодвинуть этот груз прошлого, гнет «последней» Лилиенталь.

Действительно, в чем дело? Во все времена разные роды и династии кончались в лице последних потомков. Время от времени происходили катастрофы. Золото летело в грязь, замки рушились, дворцы громились чернью, кто-то умирал в дурно пахнущей бедности и мечтах о прежнем величии. Кто-то другой расталкивая локтями и сшибая не одну голову по дороге, поднимался на верхнюю ступень всегда заново устанавливаемой лестницы. Дети нуворишей уже понимали, что имеется стиль, у их внуков появлялся уже вкус, правнуки давали гениев. Менялись теории, но сущность борьбы и сущность людей и жизни оставались неизменными.

А у старьевщиков, у антикваров тоже от всех времен оставались статуэтки, щиты, тяжелые перстни и кружевные мечты, на полках, для музеев и новых хозяев.

Да, эта профессия учит быть философом. Случайные обрывки прежних столетий были слишком пестры, чтобы создать храм из прохладного, отливающего полировкой и медью магазина, но неизменно блеклыми были не только ковры. Покупатели невольно приглушали голос перед бронзовым Буддой или резьбой ренессанса. Из чего слагалось это уважение? Ненужная вещь, роскошь всегда вызывает некий почтительный трепет; произведение искусства внушает известное благоговение даже неразбирающимся в нем; любовь вызывает и та любовь, с какой мастер двести лет тому назад выгибал кресло, ткал сложнейший рисунок, вырезывал деревянное кружево. Фабричные, бездушные вещи не вызывают любви: нравится, в конце концов, просто красота известных сочетаний.

Но есть что то еще и другое. Он долго искал определение: человек ищет бессмертия. Его нет в преходящей жизни, а есть ли за гробом — можно только надеяться, но надежда — не знание. Вечные горы, море, — но человек тут не причем. А вот вещи, созданные руками, и пережившие своих создателей столетиями — вот эта осязательная, успокаивающая вечность, вселяющая уверенность среди шаткого, рушащегося мира.

Да, линючий товар. Нельзя все время иметь дело с патиной времени, с запахом столетий, увековеченными мечтами, — без того, чтобы от них не лег отпечаток на самого. Антиквар — хирург: взрезывает скальпелем потаенное, и назначает цену, как судья.

Для таких рассуждений нужны, разумеется, годы. В начале он совершал ошибки. Эмилия тоже слишком влюблялась в вещи, ее восхищение — жалость знатока — было переоценкой. Он предоставил ей поэтому вести нечто вроде художественного салона. Первые долги, сделанные им, оказались настолько выше его воображения, что он даже не мог беспокоиться о них. Но салон приобрел известность. «Конрад и Лилиенталь» соскользнуло незаметно с годами в «Конрад Лилиенталь», и почти никто не знал толком, что Конрад — его настоящая фамилия, а не имя, и никто не удивлялся, что он упоминает об Эмилиии не иначе, как «моя жена, графиня фон Лилиенталь» — но почему то его самого никто не называет графом.

Он всегда старался быть достойным ее, но всегда знал, что продолжает оставаться таким же маленьким, чистеньким, следящим за каждым жестом, с легкой брезгливостью к нечистоплотности и дешевке. Чуть-чуть было в нем кошачье отряхивание лапой. Но он был бесцветным, и знал это. В глубине души он ощущал себя всегда мелким лавочником, старьевщиком, может быть, в лавчонке для сереньких мешан на той самой, с запахом детства, «Шпицвегской» улице. Никак не стильным лейтенантом. Он старался быть кем-то — и только. А Эмилия просто была — настоящей. Поэтому она и имела право — на все остальное... Романы Курт-Малер убедили его в этом вполне. В детстве он мечтал о пронзившем его соборе. Потом этим собором стала Эмилия. Антиквариат возник благодаря ей. Ему надо узнавать, смотреть по справочникам, учиться. Она знала, потому что родилась такой — и никогда не ошибалась. Так же, как не ошибалась во всех изгибах жизни при вопросах, чего можно, — а чего нельзя.

Как же, став настоящим антикваром, он мог не ценить этого? Вещи, попадавшие к нему, тоже потеряли свою обстановку, но не утратили цены. А у скольких людей найдется эта олимпийская ясность, строгая разграниченность дозволенного и недозволенного, определявшая мысли, слова, поступки, даже мечты? Порядочность и вежливость, культурность и скромность, достоинство и мужество? Смешно. Из сотни людей, которая перебивает у него в магазине в любое время, продавая и покупая — да что сотня, из тысячи вряд ли найдется один с такими простыми и понятными, и нужными качествами.

Нет, не только любовь. В сущности он не так уж и любил Эмилию. Все таки она слишком подавляла его. Была на голову

выше — и внешне, и внутренне. Иногда представлял себе: а что, если появится вдруг кто-то — настоящий рыцарь? Уступить? Примириться?

Утешал себя, что Эмилия не допустила бы его появления. Утешаться на стороне не позволял себе тоже, но свою вину за то, что таким рыцарем не был, чувствовал всегда.

Эмилия никогда не упрекала его. Наоборот — часто говорила о благодарности. Без него они с матерью распродали бы за бесценок квартиру и жили бы, как сотни других, в унижительной бедности. В лучшем случае стала бы учительницей или машинисткой в бюро — помогли бы одни языки, но... Эмилия знала, что она не слишком красива. Камейная породистость молодости быстро сменяется сухой поджаростью, это всегда расколаживает окружающих, и при ее сдержанности... нет, она не из тех, кто делает карьеру. В магазинном салоне она могла еще блеснуть — живой антиквариат, иногда подсмеивалась над собой. Но она умела вести и дом, и салон, и даже бухгалтерию, и никогда не позволяла себе жаловаться, или мечтать — вслух.

Один пункт был решен непоколебимо, еще до свадьбы. (Она настояла на скромном гражданском венчании — она, Лилиенталь! Впрочем, он быстро понял, почему — и постарался загладить другим: вниманием, теплом, заботой. Этого он не нарушил за всю жизнь). Непоколебимым пунктом был вопрос о детях.

Эмилия категорически заявила, что их не должно быть. Сперва этот вопрос занимал его меньше всего, как почти каждого молодого человека. Но он ничего не имел бы против сына или дочери — потом. Часто представлял себе их, смотря на других детей, рости́л в душе. Может быть, с Эмилией было то же самое. Но она не изменяла своих взглядов, высказанных однажды ровным и твердым голосом:

—Я осталась последней. Наш род должен прекратиться. Он достаточно стар, чтобы угаснуть. Я не хочу вырождения, а оно неизбежно. И я не хочу передавать своим детям те качества, с которыми мне так трудно жить самой. Времена переменялись, изменились и обстановка, и нравы. Мы должны сойти со сцены, и сделать это с честью.

Еще только раз, надтреснуто и горько, заговорила об этом:

— Видишь, если бы у нас был сын, то он погиб бы теперь в этой войне, или в сибирском плену...

Возможно: но когда он смотрел на конские хвосты, подрагивающие на затылке девушек, затянутых в узкое трико средневековых пажей... такая девушка тоже могла бы изучать историю искусств, а не одни модные песенки!

Но этим мыслям не оставалось много места. Во время воздушных налетов разбомбило их дом, и салон тоже. Часть вещей

была спрятана: уцелели. Но единственной роскошью нового магазина была только репутация старой фирмы. За новыми зеркальными витринами в пол-квартиры, в которых могли разехаться два автомобиля, он не гнался. Подорвала война, годы, одиночество. Их двое. Для кого стараться?

Мечты больше не было, остались раздумья. Иногда ему казалось, что теперь он, наконец, как следует понял идею собора. Ездил даже, будто за делом, на эту окраину детства. Улицы стали моднее, шире, давно проложили трамвай, поставили светофоры, открыли магазины побольше. Но запах нищеты, мелкие воришки остались попрежнему, и попрежнему туманным силуэтом взносились за облака башни.

«Чистый Шпицвег» — пробормотал он вполголоса, и заметив, как проходивший мальчишка в ковбойской рубашке воззрился на него с удивлением — усмехнулся. Быть может, история повторится? Но второй Эмилии тому не найти. А может быть, современной девушке с конским хвостом действительно только помешала бы ее, в сущности старомодная, культурность?

* * *

Он очнулся от мыслей. Провел рукой по лбу, подумал, что это банальный жест, хотя его никто не мог видеть, рассердился на себя, и за обычную свою банальность, и за мысль о ней, поправил креповую повязку на рукаве, опять подумал, что это лишнее, уступка окружающим — может быть, Эмилия тоже считала бы, что так полагается? Нет, она была слишком большой аристократкой, чтобы не отметить многих условностей... Он сделал усилие, чтобы увидеть перед собой наконец не то, о чем думал, а на что смотрел невидящими глазами.

За окном шел снег, подплясывал от ветра, завиваясь в страшную городскую метель. Вывески и огни напротив, через узкую мостовую, сливались в рябь. От окна немного дуло, и в такую погоду нечего ожидать, чтобы ктонибудь с интересом разглядывал витрину. В такую погоду не продают, а покупают только случайные мелочишки у бедных людей, тогда им нужнее всего деньги, или ездят на аукционы... после покойников.

Ему стало холодно. Открыл магазин по привычке, не для дела. Идти играть в карты не мог. Дома оставаться — тоже. Телефонную трубку снял, едва войдя в магазин, но теперь пожалел. Хотя — с кем бы он мог поговорить о своих мыслях? Вещи умели молчать, а если рассказывали, то не назойливо, только когда их хотели слушать. Они просто спокойно были, присутствовали в жизни, занимая предоставленное им место. В

этом присутствии была философская снисходительность установленных цен: на жизнь и на смерть.

Пришло в голову совсем уж дикое: что, вот если этот латник с копьём, — самая непродávаящаяся вещь в магазине — вздумал бы оценить его, очередного хозяина — сколько бы он дал за него? Немного. Совсем ничего... цена старьевщику.

Засвистел кофейник. Он давно включил его, машинально, как проделывал все остальное. Раньше в салоне Эмилия всегда пила с ним кофе. В этот магазин она заглядывала редко, только помочь декорировать, и то не в последний год, когда начала уже действительно угасать — а он считал, что она поправится!

В сущности он привык уже к одиночеству, оно было и раньше, и ничего нового теперь не должно быть. А новое есть: окончательность, безысходность, оборвавшаяся упавшим камнем. Как же теперь — дальше?

За спиной пахнуло холодом, мягко зазвенела дверь — старомодный звонок аккордом. Несколько снежинок, кружась, влетели, закружились над ковром, упали, как вздох. Ах, это забавная покупательница, с кубком. Кто бы еще пришел в такую погоду, а она старается...

Он шагнул вперед, и беззвучно шевельнул губами, чуть кивнув головой.

— Добрый день, — сказала она конфузливо, расправляя ресницы, и стараясь хоть одной ногой не прикасаться к мягкому, совсем не для уличных туфель ковро. — Я бы хотела дать вам снова немного денег...

Стянула мокрые шерстяные перчатки, порылась в сумочке, вынула приготовленную кредитку, положила на стол. Очередные двадцать марок — они условились, что она будет платить по частям. Он взял деньги, не глядя, вынул конторскую книгу, нашел страницу, отметил, смахнул бумажку в ящик, и поднял уже голову, чтобы кивнуть ей на прощанье, но вдруг остановился. Она стояла, опустив руки с потертой сумкой, и смотрела на витрину с таким самозабвенным, мечтательным выражением на усталом лице, что у него вдруг дрогнуло что-то в душе.

— Послушайте, — сказал он, — вы наверно устали и продрогли. Выпейте со мной кофе — я как раз собирался пить.

— О — прошептала она, — вы действительно очень любезны!

Улыбка была сдержанной, но с такой сердечной корректностью, как будто вдруг найден общий язык, человек своего круга. И — нет, в этом он не мог ошибиться! — она сразу стала дамой. Он снял немодное пальто, как помог бы снять дорогую шубу, подвинул кресло к столику у своей конторки в глубине магазина, вынул из шкафчика продававшиеся, хорошие чашки — сам пил обычно из треснувшей. Ее руки были еще крас-

ными от холода, и без маникюра, но он удивился: такая форма пальцев и кисти дается только родословной.

— Вы, конечно, настолько привыкли к вашей обстановке, что почти не замечаете ее — сказала она со своим странным акцентом, — а я, когда прихожу к вам, попадаю в другой мир. Прежний. Как хорошо, если время от времени можно посмотреть на чтонибудь красивое...

Ее взгляд задержался на резном дубе, будто погладил его.

— Вы ведь... не отсюда? — спросил он, и удивился, что спрашивает не для того только, чтобы что-нибудь сказать, а с каким-то непонятным самому интересом. — А что здесь делаете?

— Я с северо-востока... за Восточной Пруссией... беженка. Здесь? Ну вот, нашла наконец работу. Очень рада, конечно, но знаете — еще очень трудно. Ничего нет, и пока хоть немного станешь на ноги... но я надеюсь.

— Сколько вы получаете в месяц? — вдруг строго спросил он.

— Двести восемьдесят марок — изумленно ответила она.

— И можете позволить себе подарить серебряный кубок, который стоит триста? Нет, нет, пожалуйста, не возмущайтесь. Прошу извинения, я не хотел вмешиваться и вас обидеть. Конечно, мне нет никакого дела. Только...

Он уже хотел сказать что-нибудь придуманное, но неожиданно закончил:

— Только у меня... знаете, умерла жена. Да, четыре дня тому назад. Я только сегодня пришел в магазин. Расскажите о вашей жизни. Обычно у меня покупатели другого сорта. Вы не сердитесь?

— О-о-... — протянула она и притихла, прислушиваясь к чему-то в самой себе. — Мне бы не хотелось говорить вам банальных слов. Но может быть, вы можете себе представить, что значит быть беженцем. Нам ближе всякое горе. Вот радость, — да, это труднее понять, хотя я могу еще радоваться тоже. Но что значит потерять — это я хорошо знаю: родину, людей, дом. Конечно, жизнь можно устроить сызнова. Сил осталось еще немного, но есть. Человека только найти трудно. А есть еще и другая горечь. Видите ли, смерть страшна, конечно. Мои близкие погибли. И это окончательно. Сперва падаешь на землю, думаешь, что не переживешь. Но вас толкают дальше. Надо подниматься, идти, строить что-то — иначе потеряешь себя, свое лицо. Непоправимость не только страшна, она проводит черту, за которой другой отрезок жизни, неизбежно. Но есть горечь потери человека без смерти. Его нет — но он не умер. Не окончательно, но бесповоротно. Тогда хотеть и знаешь, что это непоправимо, но остается все-таки это ужасное словечко «бы».

Могло бы быть и иначе, если бы... не знаю, понимаете ли вы меня, я так смутно выражаюсь...

Он кивнул, хотя понял в сущности мало. У нее был успокаивающий, по чужестранному низкий голос, и несмотря на акцент, она говорила чисто, хорошим, образованным языком. Сколько ей лет? Не слишком уже молода. Очень тонкие кисти рук, энергичное лицо, а в глазах надорванность, как трещинка на фарфоре: будто цел, но дребезжит. Они никогда не заживают, эти трещинки, но живут долго, если с ними осторожно обращаться. Эмилия тоже могла бы еще жить. Что он упустил сделать? Надо было других докторов, раньше в больницу... Что он может еще сделать для нее — теперь? Молиться? Эмилия, может быть, сумела бы... «Мы получаем нашу жизнь в ленное владение от Господа Бога» — сказала она как то. Своим владением, последними часами, распорядилась самовластно, созная свое право, готовая дать отчет... застыла в шлеме... Такой же шлем надела и ему. Такой же! Глупо и пошло, что в смерти все одинаковы. Как может быть она одной и той же для разных жизней! Эмилия справилась — с одной и с другой... А он? Старался быть... приучал себя. Знал, что не герой и не рыцарь, а маленький мещанин со «Шпицвегговской» улицы. Не всем же совершать подвиги...

Она смотрела на его гладко разделенные пробором серые волосы, чуть обвисшие щеки, тоненький носик, старомодные золотые очки, маленькую фигурку чистенько подтянутого немца. Совсем неожиданное знакомство. Наверно, местный. Что он знает — о другой жизни? О том, что оставили за собой все эти, пришедшие сюда, беглые, заброшенные войной, чужие и чуждые люди? Но ему очень больно сейчас самому. Вот, предложил ей кофе, протягивает сигареты, турецкие, дорогие. Вряд ли пришел торговать сегодня, — просто привычка, и аккуратность. Или чтоб поддержать как то эти красивые, великолепные, чужие и мертвые вещи. Повидимому, он совсем один.

Дома она тоже будет одна. Дом! В комнате плита, она же и печка, в окна дует, раскладная походная кровать, и половичок, связанный самой из тряпок. В такой комнате можно повеситься и безо всякого горя. Если бы не надежда... но теперь и ее нет.

— Тот, для кого кубок — вас не любит?

Вопрос в упор. Совершенно невозможный, конечно, так не принять. А ему как будто действительно нужно это знать...

— Мы были очень счастливы. Встретились и думали, что теперь все будет по иному. Дело не только в любви. Постараюсь обьяснить совсем упрощенно: вот и у вас были раньше ордена пограничных рыцарей. У нас тоже вроде них... казаки. Поселенцы и воины на новых землях и границах. Понимаете?

У предков Эмилии был стальной шлем. Странно...

— О да, я понимаю вполне.

Подумала, что ничего не понимает, конечно, но продолжала говорить дальше:

— Моя мать из такого казачьего рода, а отец — из рыцарского северного. Так вот казаки... одни ушли оттуда после революции, другие остались. Их уничтожали, расстреливали, отняли все: поместья, полки, традиции. Понимаете: отняли прошлое тоже.

— О, разумеется, коммунисты. И у нас было похожее...

— После войны — он пришел оттуда. От прошлого остался кусочек детства, потом была другая, ужасная жизнь. В ней теряется многое. А я сохранила, живя здесь, прошлое в настоящем, и хотела, чтобы он вспомнил, нашел себя. Вы спросили вот — могу ли я позволить себе сделать такой подарок? Нет, себе — не могла бы. Но ему обещала подарить как то — серебряный кубок, по традиции: казаки всегда пили из серебряных кубков, военной добычи. Теперь он должен уехать. Далеко, и... не стоит рассказывать, почему. Так вышло, мы должны разойтись. Это — прощальный подарок. Самый горький, самый бескорыстный, самый последний. Может быть, он все таки придет к настоящему, пробьется через все наносное, найдет в себе силы. Я теряла не только людей, но и веру в многих. Понимаете: можно верить человеку, но это еще не значит верить в него. Это большая разница. А он, может быть, самый последний человек, в которого я поверила еще. И в залог этой веры — кубок. Пусть мелочь — но вы знаете, сколько кроется в мелочах. Вот эти арабски золотом на чашке — в них целая эпоха, душа мастера. Мы часто пили вино из фаянсовых кружек, грубого стекла — беженское, нищее житье. Из серебра пьешь по иному, а ему никогда не приходилось раньше...

Она залпом допила чашку кофе, хотя чувствовала, что у нее уже бьется сердце, и может быть, не следовало бы... Как, собственно, не следовало бы и рассказывать всего. Но это чужой старичок, с чужими легче, и надо же хоть кому нибудь рассказать. Именно в таком нелепом, необычном, неожиданном разговоре. Любовь, оборвавшаяся сразу, разлука, в которую не могла еще поверить... она была как пьяная, шаталась от отчаяния, от физической боли в груди. Часами бродила по городу, рассматривала витрины. Попадались чарочки из серебряной жести, или громадные призовые бокалы, совсем не то. А здесь вот он, стоит в стеклянной горке. Небольшой, но тяжелый, чуть пузатый, так хорошо уложится в сильную мужскую руку. Кованого серебра, и в черни поблескивают мелкими капельками рубины и светлая, столетняя бирюза. Небо и кровь.

Цена была невозможной, немислимой. Но увидев, уже знала, что не сможет уйти. Объяснила, стараясь сдерживать голос, чтобы не дрожал, что ей нужен подарок — нет, не сейчас, можно потом, она даст только задаток. Отдала все, что было с собой, скопленное — десятую часть стоимости. Но скоро получка. Пришла, принесла еще, извинилась, сказала, что возьмет кубок потом. Такое счастье, что подвернулась работа и на дому, присидела целую неделю ночами, вот, осталось заплатить теперь только половину... Легко сказать: только!

А что, если попросить его поверить остальное в долг? Нет, неудобно. Такое горе у человека, а она воспользуется и будет лезть к нему с рассрочкой...

— Еще один щекотливый вопрос, — произнес он, пристально смотря на нее. — Предполагаю, что вы часто должны были есть суп из кубиков магги, и сухой хлеб, чтобы скопить эти деньги. Тот человек знает, что вы готовите ему такой роскошный подарок? Он дарил вам уже чтонибудь — с такими жертвами? Был внимателен, заботился о вас раньше? И не только тогда, когда, скажем, вы устраивали вместе ужин, а он приносил бутылку вина — или вы покупали ее тоже? А когда вы оставались одни, и вам было плохо — что он делал? Вы знаете, что значит вежливость сердца? О да, вы! Вы получили благородное воспитание, это я вижу. У него была другая жизнь, понимаю тоже. Но благородство, дорогая сударыня, бывает и врожденным. Даже без родословной оно может быть тоже. Это просто значит — иметь сердце, потому что настоящее человеческое сердце благородно всегда. Скажите, пожалуйста, правду. Скажите ее — себе самой. Я бы очень хотел, чтобы вы могли ответить без запинки, что у него находится сила поддерживать вас. Только это, не больше. Это бывает даже и без любви.

Он говорил спокойно и деловито, как будто рассуждал о погоде. Он не был пьян ее отчаянием, ничего не знал о их встречах, о том, сколько раз она наталкивалась, обжигалась об лед непонимания, толстокожесть, объясняла это тысячью причин, обстановкой, условиями жизни, мужским характером... и ведь знала, в глубине души знала, что это неправда, но надеялась, что человек увидит, наконец, начнет по иному вдумываться, поймет...

— Нет — отчаянно сказала она.

— Так-так.

Он помолчал, налил ей еще кофе, подвинул сахарницу.

— Скажите — он смотрел поверх ее головы, не в глаза, потому что знал, что это страшный стыд — за другого, любимого, — а вы не хотели бы сделать этот подарок скорее? Последнее всегда лучше делать скорее... Вы не можете заплатить сейчас всей суммы, да, я понимаю. Но я дам вам кубок.

— Можете поверить мне! — она подняла голову, в глазах блеснули слезы.

— О да, знаю, вижу.

— Я напишу вам мое имя и адрес, и долговое обязательство...

— Не нужно. У вас такие трудные имена.

— У меня как раз нет. Думаю, что вам нетрудно будет выговорить: Лилиенштерн.

— Как?!

Он уставился на нее с таким изумлением, с возмущением даже, показалось ей.

— Ну да, я же говорила: предки моего мужа, и отца тоже были северными рыцарями. Когда то они отправлялись на юг, в крестовые походы, и выбивали на щите розы или лилии долины Иерихонской... потом возвращались на восток, в леса и скалы... теперь от их замков ничего не осталось. Я последняя Лилиенштерн.

Последняя Лилиен...!

Что то звякнуло у него в руках, когда она кончила писать. Антиквар стоял у конторки, тщательно завертывая кубок в бумагу, потом в еще одну. Руки двигались медленно и спокойно, но он смотрел прямо перед собой слепыми за стеклами очков, остановившимися глазами.

— Вот, возьмите — отрывисто сказал он. — Он не принесет вам счастья. Но ваше счастье в том, что в вас есть настоящее. Оставайтесь — последней. Прощайте.

Он передал ей пакетик, проводил до дверей, поклонился подчеркнуто низко — прямой, сухонький, странный старичек.

Она вышла в легком недоумении, взволнованная еще разговором, но с трудом удерживаясь, чтобы тут же, на улице, в метель, не развернуть пакетика, полюбоваться, и уже соображая — когда, где, как она передаст его. «Он не принесет ей счастья». Кто «он»? Кубок, или? Не принес, и вряд ли сумеет... но на дорогу, и на всю остальную жизнь она должна дать ему... а может быть, он подарит его потом первому встречному, просто так, первому попавшемуся приятелю? Или проплет? Тоже возможно. Похвастается им больше, чем можно, конечно, солжет... Все возможно, и пусть. О нет, она не так уж слепа, но нельзя считаться только с тем, что будет делать другой. Прежде всего надо делать то, что нужно самому.

Она была счастлива в эту минуту, и шла легко и свободно против ветра, щурясь от летевшей в лицо метели, прижимая к сумке драгоценный пакетик.

И не оглянувшись. Не видела, как антиквар постоял еще, смотря ей вслед — впрочем, он может быть и не видел ее. Потом запер дверь, и спустил решетку, как всегда, когда уходил, но

на этот раз не снаружи, а изнутри. Вечер начинал уже темнеть, но он не зажег огня. Над его конторкой, в глубине магазина, горела лампа. Он щелкнул выключателем, и в магазин вплыли сумерки, холодной пустотой отодвинувшие все.



Она прибежала в магазин на следующий день, сразу после работы, немного волнуясь. Всегда боялась носить с собой дорогие чужие вещи. А сейчас в сумке лежали часы, оказавшиеся вчера в кубке. Как они не выпали из него, когда она развернула пакетик, не разбились! Старинные дамские часики: золотые, с синей эмалью. На одной стороне крышки брильянтовая коронка, на другой — герб, белая лилия на щите. Почти такой же, как у Лилиенштернов, интересно... Как он не заметил, заворачивая? Во всяком случае, надо отдать немедленно, а не ждать до следующего платежа, может быть он уже спохватился, и ищет их.

Очень торопилась сегодня: надо еще купить вина к ужину... дорогого вина. Для последней встречи. Больше — лучше не надо, чтобы сразу оборвалось, совсем...

Переходя улицу, подняла голову, и вдруг увидела вывеску над витриной, раньше не обратила внимания: «Конрад и Лилиенталь». Лилиенталь — Лилиенштерн... Так значит, это его часики? Как же так...

Магазин был закрыт. На двери спущена решетка, витрина смутно отблескивала слепым провалом, сразу запылившимися вещами. Постояла, досадуя. Ну вот, надо же было ему закрыть так рано. Что теперь делать? Придется придти еще раз завтра.

На следующий день шла медленно, безразлично. Прощанье вышло очень коротким. Он обрадовался кубку — еще бы! Никогда не держал в руках такого... однако торопился. Разлука еще не наступила, но стало уже некогда: отметила, как должное, молча. Не спала всю ночь. Тяжелое вино одиночества. Снова, теперь уже совсем. Рядом, в таких же коробках и каморках, люди. Отгородились от мира тонкой стенкой, и ничего не знают о других.

Магазин был закрыт.

Опять постояла, подумала. Написала записку и долго старалась всунуть ее в дверь, за решетку, чтобы не упала. Теперь может вернуть ему часики только на следующей неделе, завтра праздник. Жаль, она так устала. Даже радовалась немного по

дороге, что, может быть, снова выпьет с ним кофе, поговорит о чемнибудь — или просто будет рассматривать красивые вещи. И это не вышло...



Улица горела закатом, когда пришла снова. Думалось по пути, что дорога стала уже привычной, связалась ниточка: и кубок нашелся у него, и разговор такой неожиданный, и часики с лилией — ее лилией. Станет зарабатывать больше, купит себе такие. Пусть старомодны — можно снять одну крышку, и цепочку переделать на браслет. Часики лежали в кубке, как сердце в руке... может быть, попросить оставить их ей? Но они очень дорогие, такая работа, брильянты не осыпь, а крупнее гораздо. Столько платить еще и без того... неудобно.

Магазин был закрыт. Даже витрина была закрыта ставнями. В чем дело? Уехал? Болен? Где он живет? Соседи должны знать. Рядом маленький писчебумажный магазин...

Пожилой немец с седыми усами покачал головой.

— Господин Конрад? Кажется, у меня где то есть его домашний адрес... но все равно, больше вы ему ничего не можете передать. Да, такая трагическая история. Он только что потерял свою жену, три дня магазин был закрыт по случаю траура, понятно, а потом он пришел, я еще поздоровался с ним, выразил сочувствие, но он как будто не слышал вовсе... Вечером магазин закрылся, как всегда, но домой он, оказывается, не вернулся. Ну, через двое суток его прислуга уведомила полицию, взломали дверь, а он давно уже закоченел. Из старинного дуэльного пистолета, как в романах, подумайте! Даже удивительно, что такие вещи еще на чтонибудь годятся...

Чувствуя, что зря, спросила все таки:

— Но ведь на вывеске... Конрад и Лилиенталь... Значит, есть еще кто-то?

— Его жена была Лилиенталь. Старая графиня. Последняя в роде. Да-да, эти люди уходят со сцены. Их время прошло. А кто придет на их место?

ЗАТЕЙНЫЙ ВЫДУМЩИК

Они больше, и смотрят сверху или сбоку на нас. Когда то были могущественные: мы с трудом вырубили просветы для своих дымных жилищ. Потом мы победили — задушили их своим дымом, но они продолжали оставаться друзьями. К ним прислушиваются редко, и это очень жаль. Они живут вместе с нами и страдают не меньше, хотя погибают часто там, где мы выживаем, и наоборот. У них больше простой силы и не меньше затаенной выдумки. Если она и не совсем сознательная, может быть, то от этого не становится хуже.

Мы относимся к ним по разному, в разное время нашей жизни: часто не относимся никак, и тогда у нас самая плохая жизнь, хотя мы и не замечаем этого. Они всегда настроены благожелательно к нам, всегда дают хоть чтонибудь, ничего не прося взамен, и как мало, как до ужаса мало находится у нас любви к этим молчаливым друзьям! И еще нам кажется, что они остаются сбоку от нас, позади на дороге: неправда. Они всегда идут вместе, и одно дерево будет шуметь над колыбелью так же, как и другое — над могилой. А в чем еще столько неизменности, на которую можно положиться в созданном нами мире?

Но это о деревьях вообще, а о каштане особо.



Когда от сучка каштана отделяется пожелтевший лист, остается след — крохотные гвоздики, вбитые плотной подковкой. Так, обстоятельно и добросовестно прибавался стебелек листа, чтобы он, пятилопастный, широкий, не упал, чего доброго, до положенного срока.

Каштаны похожи на сен-бернардов: громадные, добродушные, они спокойно ведут свое патриархальное хозяйство. Уже весной на голых сучьях такие большие почки, что кажутся цветком. Потом раскрываются сразу, выбрасывают громадные листья, прибавляющиеся подковками, и вскидывают пирамидки бело-розо-

вых свеч, но не так торжественно тяжелы, что их никакими подковками не прибить!

Весной каштанам, как и всем, полагается мечтать. В душистых свечках звенят пчелы. Со свеч сыплется на траву, на плечи прохожих нежнейший легчайший снег.

Отцветая, свечи опускаются вниз, и на них быстро наливаются светло-зеленые шарики, тоже хозяйственно обитые колючками, чтобы не скользили в листьях, чтобы не склевали их загодя птицы. Осенью картинно раскалывается плод, где в белой блестящей вате заботливо уложен коричневый, как боровичок, отлакированный орех. «Благородные» каштаны, сладкие и мучнистые, поджариваются на уличных жаровнях зимой, греют руки и застывшие губы. Это — преддверие к Рождеству, и с жаровен, как с угасающих свеч, идет горьковатый дымок.

Из простых, «конских» каштанов, делается целебное зелье для многих человеческих болезней, их любят есть олени и свиньи тоже. Все на потребу. И на радость: все радуются, подбирая на бульварах в городе, на обочинах дорог крепкие, блестящие орехи, вырезают из них игрушки, да и просто так — кладут в карман на счастье. Спасибо каштану!



Первая встреча была в приморском городе, и широкие шатры в торжественных свечках восхитили сразу. Но настоящая любовь — щемящее, физическое чувство боли, тоски, нежности — пришла осенью и осталась навсегда.

Девочка была развитой, резкой, и сумасшедшие годы гражданской войны заставляли ее уже решать серьезные вопросы. Приморский город был старым пепелищем, «заграницей» и детством, но и там, позади, осталась другая, тоже родина, дом, жизнь. По возвращении — или это было бегство? — еще держалось что-то попрежнему, но уже обломками. Уже приходилось не весело помогать на кухне, а готовить самой всерьез, и самой тащить с базара тяжелые сетки с провизией, а когда она купила вместо мяса конину, то суп вышел серый, пенистый, вонял на всю квартиру, мама очень сердилась и кричала.

Мама сердилась часто. Не понимала, что ей трудно в гимназии. Не потому что чужой язык. Учиться было всегда легко, но у остальных девочек есть все, что нужно: пеналы, гимнастические туфли, настоящие школьные передники, а вот у нее этих простых вещей не было, их нельзя было сделать дома, и надо было купить, классная дама говорила не раз, но мама не пони-

мала. Да, не на что сделать. Он и сама уже пытается зарабатывать: теперь дамы носят мешочки из шелка, называются они по старинному «помпадур», так вот для маминых заказчиц их можно вышивать бисером или шелком...

В классе все были старше ее, но больше болтали, чем читали, и она чувствовала себя на голову выше, особенно на уроке истории. Но от этого шла и замкнутость, и резкая печаль: иногда хотелось тоже быть веселой, ни о чем не думать, вот как Клара и Лиза. Клара — смуглая, вертлявая немножко, с кудрявой головой и черными глазами, а Лиза — красавица с картины Генсборо в истории искусств, обе первые красавицы в классе.

Наблюдения шли издали — те ничем, кроме танцев и глупых девчонкиных разговоров не интересовались. Она только раз пошла вместе с Кларой домой, хотя им было по дороге. С трамвайной улицы повернули на площадь со старинной церковью: наверху множество мелких острых башенок, гораздо красивее, чем другие кирпичи, тяжелые, как замки, а подножие у Старой Гертруды отливает розовыми пятнами потемневшего кирпича. Еще дальше — тихие улицы с особняками. У одного Клара остановилась. На угол выходит большой сад, за ним зеленоватый деревянный дом с высоким балконом и баллюстрадой над крыльцом, и над всем свешиваются листья старых каштанов.

Клара быстро простилась, позвонила, размахивая сумкой, и надо было идти дальше — домой, на самый верх большого дома на шумной улице: неудобная квартира, внизу голый двор. У Клары наверно есть гостиная с широкими кожаными диванами, как у них раньше, и ковры, и можно ходить по саду, шуршать листьями... счастливая Клара!

Она так и не попала в дом за каштановой стеной, но часто вспоминала: мысли цеплялись за него, как за то, что вот было совсем только что, недавно совсем, да и теперь есть, только у других. И, конечно, не вещи, не коричневое форменное платье Клары главное, а вот эта спокойная, налаженная, настоящая жизнь. Кларе не надо таскать на пятый этаж капустных листьев для кроликов в каморке у кухни, и чистить их вонючие опилки, и помнить обо всем, и думать о разных странных вещах. Она может смеяться, учиться — хотя и не учиться совсем, и быть просто девочкой, а не взрослой замухрышкой в десять лет.

Конечно, зато Кларе никогда бы не пришлось в голову мечтать стать профессором химии, как она мечтала в детстве. Это детство было уже давно, а теперь она пишет стихи.

Если ей закажут еще несколько помпадуров, которые она так хорошо уже выучилась вышивать, то она скопит денег, купит себе гиацинтов, и поедет в воскресенье с братьями кататься на извозчике. Тогда можно проехать тоже мимо дома Клары, можно даже остановиться, пройти мимо забора — как будто

просто так — и подобрать несколько каштанов. Будет идти мелкий серенький дождик, в тумане поблескивать лужи — это красиво, и получается такой грустный праздник.

Мечты не всегда справляются с действительностью — это тоже пришлось узнать. Гиацинтов, как оказалось, осенью вовсе не бывает. Помпадуры не были заказаны, и поездка не состоялась. Только каштаны остались. Когда она проходила мимо Старой Гертруды, дул ветер. С моря, с посеревшей, вздувшейся реки, такой широкой в тумане, что с набережной наверно и не видно другого берега. Ветер здорово потрепал бы каштаны, но они отяжелели от дождя, тумана, сумерек, и ржавые листья висели, как хлопья. Под забором она нашла расколовшиеся колючие коробочки — вот бы нарисовать!

Так начиналась жизнь.



Вторая встреча была весной.

Бывают такие мягкие серенькие дни у северной весны, когда чуть накрапывает дождик, и дышат блаженной свежестью земля и теплые деревья. О том, как хорошо в лесу, и говорить нечего, но и в городских парках хоть кусочек земли среди камней пахнет тоже, обдает дыханием зелени.

«Сегодня день задумался и сер, — И ветра тихий шопот меж ветвей — Но не найти мечтательных химер — В изгибах зеленющих аллей» . . . »

Стихи приходят сами собой, если бродить по дорожкам, и стихов она пишет теперь много. В семнадцать лет собственных воспоминаний еще довольно мало, но страдание и грусть должны быть обязательно, иначе в жизни нет смысла. Вспоминать можно и не о своем непременно: другие поэты тоже пишут о маркизах, Пьерро, и старинных замках на Босфоре, а совсем не о том, как они ходят без подметок. Кроме того, в туфлю можно подложить кусочек картона, а думать о таких мелочах — мещанство. Главное — это сколько еще философов и классиков, которых надо прочесть, ибо как же можно жить, если не знать всего этого?

Может быть, каштаны думают о другом смысле жизни, но они молчат. Они только засыпают дорожки, молодую траву, прохожих легким снегом, шелестят листьями в такт почти незаметному дождику. Так тихо, что в голову приходят уже не стихи о химерах, а улыбка профессора, пичкающего ее сочинениями Платона, французскими классиками и теософией, нисколько не заботясь о последствиях. Вчера он поцеловал ей руку и сказал . . . собственно, ничего особенного, но посмотрел так . . . так!

Это очень серьезный роман; философские рассуждения, принципиальные вопросы и история искусств занимают в нем главенствующее место; прогулки по паркам, набережной и старинным улицам города, взгляды и самое большое — поцелуй руки — тоже.

Может быть, каштаны знают даже, чем это кончится — первой горькой зарубкой на душе, недоуменным вопросом горячих, плачущих глаз. Так бывало уже часто — и в первый, и не в последний раз, и так часто и должно быть. Но каштаны тоже нежатся и мечтают весной — для того она и приходит, чтобы помечтать...



«Каштаны растут в среднем поясе» — да, всех европейских городов. Их много, этих стран и городов, в нашей жизни, где в садах и вдоль улиц стоят уютные, широколапые деревья. Мы кончаем жизнь в одном и приходим в другой город, на чужие улицы, и начинаем все по другому и снова, и нам кажется, что мы оставили позади себя все — а вот не те же — но такие же деревья цветут и шумят снова, сбоку, над нами, и шепчут, и сторожат, и дают снова — возьми только! — так же, то же.

Дом не особняк, но он за стеной на углу, и вокруг него деревья. Листья забили решетку над каменной стеной, сучья перевесились вниз, над узенькой сухой тропкой. На острых камнях крупной неряшливой гальки валяются сухие, рыжие листья, завиваются и распластываются шуршащим веером. На этом углу всегда резкий ветер, а за углом стены — пустырь с бурьяном, редкими кустиками с мертвенно белыми, меловыми зонтиками тысячелистника. Цветы пахнут терпкой горечью, как полынь, это осенний, пронзительный резкий запах. Почему она никогда не обращала на них внимания раньше? Ну да, были другие цветы...

А все таки можно собрать маленький букет: белые комочки на коричнево-желтых листьях — бедная, нищенская осень предместий. Все, что осталось — страшно подумать — не только от лета, но и от всей жизни — и прежней, и вообще.

За пустырем двор с унылыми домами, и двор унылый, засыпанный острой галькой, но есть знакомая дверь в крохотную комнату, в которой трудно повернуться: кровать и стол у окна, печка, стул. А букет все таки надо: вот, собирает бурьян, а у нее поет сердце, улыбаются губы, глаза, и протягиваются руки к такой знакомой, растворяющейся двери...

Может быть, после всех потерь, провалов, катастроф, бегства опять и снова, в этой чужой и странной жизни на пустырях,

на окраинах городов, в казарменных блоках, в крохотных каморках с серыми одеялами, в нужде, неизвестности, страхе — и грозящей, постылой скуке — особенно дорог вот этот бурьян, расцветший на дороге, сухие знакомые листья?

Счастья, во всяком случае, много и сейчас, и может быть, именно такого, какое должно быть у двух людей на голой земле: ни позади, ни впереди ничего нет, только смутная надежда на жизнь, как у листьев всегда эта надежда есть, и только сам человек, какой он есть, дорог и любим. Вот, прибежала, поставила букет — и счастлива: и день чудесным стал, и глаза сияют, и кажется, ничего не надо больше — только страшно чуть-чуть: на распутии все это... а если разметет ветер?

У кружки на столе отбита ручка, и букет простоит в ней недолго. Выметут, выбросят — как будто на сучке не осталось ни следа, как будто никто не прибывал листьев подковкой — разве что в сердце гвоздем. Да и не могут листья пустить корни, неумело цепляются за что ни попало, кто же с ними возиться будет. А двери хлопают на сквозняке, и у каждого есть за спиной такие двери, которые не откроются больше никогда. И ни вернуться, ни постучать в них, а ключ на пороге остался. Был — и нет больше.



А за осенью снова приходит весна — представьте!

И ветер был, и холод, и безнадежность — а даже самые старые деревья протягивают новые ветки. Есть очень неуклюжие слова: «жизнеутверждаемость», например, и объяснить их трудно, но важно не слово, а чувство. Оно возникает внезапно, без повода, казалось бы: просто ощущение радостного и полного слияния с окружающим миром, каким бы он ни был, с жизнью в нем, вместе с ним, во вне и внутри себя. Просто так: вдруг угол улицы, облако в небе, дождь или закат, чай то взгляд или слово, или просто незнакомые люди на улице, запах — и все вдруг становится радостным, ясным, своим.

Бездумно и безрассудительно, просто кожей воспринимается это, бодрит и переливается с кончиков пальцев, остро и весело. Как после болезни, или сна; часто и при меланхолии даже, только при злости никогда; и постоянно — при любви: к человеку, миру ли.

Вот так и в этот день. Тоже серенький, и нежно зеленые листья парка пахнут даже среди лакированных боков автомобилей, на середину улицы доносится их запах, нежный мед розовато-белых цветов. Хорошо бы пройтись по парку, но нельзя, надо ехать дальше, работать, — и это тоже хорошо, это со-

всем хорошо даже, что есть работа. Так и устраивается жизнь — как же не помечтать весной?

Какое то громадное здание на углу у парка с оставшимися провалами аркад наполовину было снесено бомбой, так и осталось. Наверно, было «храмом искусства», или науки, эти храмы чинят в последнюю очередь. Только внизу убраны обломки, беспорядочные груды покрыты травой и веселыми желтыми пятнами одуванчиков.

Здесь стояло несколько каштанов, и одни уцелели, от двух только торчат пни, а вот последний, у самых аркад, покалечила бомба. Он большой, и у него то с одной, то с другой стороны повырывало сучья, и ствол вероятно обгорел. Теперь этого не видно. Теперь весь ствол, и оставшиеся ветки плотно закутались густой свежей порослью, вычертили новый силуэт: не широкий шатер, а кривая, мохнатая ель, и на ней — зажженные свечи.

Ведь какой же затейливый выдумщик! Обожгли его, искалечили, сломали, замучили, швыряли на землю, и боль то какая была, отчаяние и безнадежность! Как и ее... А стоящие рядом братья смотрели с сожалением и шептали, что это ничего, он ведь остался жив, а раз так, значит найдется что нибудь хорошее, и снова будут свежие листья, и над ними солнце. Непременно должно быть хорошее, несмотря ни на что!

(А ей? Разве не нашлось на этой дороге, через пустыри и обломки, среди чужого ветра, никого, кто бы прошептал рядом хорошее, доброе слово? Пусть на ходу, вскользь, нечаянно, — а ведь быть не может, чтобы кто нибудь ни сказал, ни протянул руку — ветку хоть те же каштаны протягивали не раз — и ей, и мне, и вам, наверно...)

Нашлось же. Стал каштан — рождественской елкой к весне. Не полагается такого, не ко времени? А почему бы и нет? «Он не подобен остальным друзьям. Он все дает — и ничего не просит». Вот ведь что полагается. Свечи, конечно, для орехов нужны — но и для мечты тоже. Шатром не удалось вырасти — стал мохнатой елью. Пусть и другие попробуют тоже... и братья улыбаются рядом, и люди поднимают голову — а с него слетает мягкий, легчайший снег на развалины прежней жизни, на солнечные одуванчики, на сверкающие автомобили и на глаза, в которых — мечта. Надо ей быть весной.

Спасибо каштану...

ДЕРЕВЯННАЯ ЕЛКА

Есть простое, но трудно переводимое английское выражение: «A room on the road»

Можно, конечно, сказать точно: «Дом при дороге», но не совсем тот смысл: крыша для бездомных, временное пристанище в пути для зашедших согреться, спрятавшись под какую то крышу от непогоды, забившихся в угол передохнуть.

Таким был этот дом в холодную, грязную, серую осень не милости, а гнева Божьего тысяча девятьсот сорок пятого года.

Вокруг вокзала было разбито все. На проложенных поперек нескольких бывших кварталов рельсах пыхтел игрушечный паровозик, тащивший вагончики с мусором. Как будто можно было убрать эти развалины, привести в порядок кучи щебня, вывороченные балки, зияющие ямы, пещерные подворотни!

Ходить приходится, как по холмам, только дальше улицы становятся шире, развалины громоздятся по бокам, уцелевшие тополя, у когда то триумфальной арки, указывают дорогу — особенно вечером, когда наступает полицейский час, и нельзя попасться на глаза патрулям в сразу вымершем городе.

Дом на самом углу смело начисто, первым стал теперь следующий, неожиданно распахнулся дворик с вздыбленными от бомб плитами. Раньше это был унылый, серый пансион в несколько этажей двух старушек-немок. В сущности кажется, что все осталось попрежнему. Одна сестра, кухарка, стоит в кухне, и ловко переворачивает лопаточкой, не поджаривая, а подпекая, кусочки манной каши (один купон продовольственной карточки в 50 граммов и 10 граммов жиру), или варит нечто, называющееся «супом из бычачьих хвостов»: коричневая, остро пахнущая, повидимому, именно этими «бычачьими хвостами», жидкость; или наливает в высокие пивные кружки оранжевого цвета пойло, которому даже немцы затруднялись подобрать название, а обитатели дома называли его, отстукивая, как барабанную дробь: «Негер-фус-ваш-вассер».

Хозяйка — сестра толстой кухарки, низенькая, темноволосая, с длинным носом старушка, очевидно не была лишена юмора — или практической сметки. Во всяком случае, в мужестве ей нельзя было отказать: сдать весь дом по частям бывшим унтерменшам, ставшим теперь иностранцами — было несомненным достижением.

А они даже не хотели называть улицы ее именем почтенного профессора Ома, и окрестили ее каким то диким названием: «Хамштрассе» причем очень и совсем непонятно веселились при этом. А как выглядел сам приличный благоустроенный семейный пансион! Конечно, центральное отопление не действовало — да и чем бы топить? Пришлось поставить печки, провести железные трубы во все окна. Но ведь война только кончилась, и неизвестно еще...

Конечно, они занимаются разными делами, на которые лучше пристально не смотреть. Но она только хозяйка пансиона и не обязана знать все, тем более на непонятных языках. Главное, чтобы обходилось без полиции и не слишком шумели. Впрочем, соседи по комнатам все такие же: шумят сами, и не жалуются... И между прочим, то один, то другой приходят и потихоньку передают ей на продажу и так, в виде подарка, давно уже невиданные вещи: консервы, кофе, сигареты — пачка сигарет стоит пятьдесят марок — цена в месяц за комнату! Но по закону она не может брать больше, пока еще все по старому...

С законами обитатели дома на «Хамштрассе» не считались вовсе, и притом взаимно: все они были вне всяких законов — пестрый, многообразный, ничем не смущающийся сброд: это качество объединяло всех.

От лестницы посредине дома расходились на этажах коридоры, и в них выходили двери комнат, комнатушек и комнатенок — чуть побольше гроба, только выше. В комнатушках часто жили по двое, в комнатах умудрялись и по шесть человек. В доме беспрерывно хлопали двери, все куда то мотались, ко всем беспрестанно приходил кто-то, во всех комнатах продавали и покупали — все, от белого хлеба до французского коньяка. Главными предметами, или беспрерывно повышавшейся твердой валютой были сигареты, мутный самогон и тоже мутный, твердый армейский шоколад.

... Мягкий беловатый хлеб — почти белый! — приносил молодой темноволосый человек с усталым интеллигентным лицом и печальными горячими глазами. Он жил не здесь, а в хорошем доме со снесенным чердаком, среди роскошного предместья неподалеку. Квартиру захватила каким то образом предприимчивая баба, и сдавала комнаты, кормя жильцов оладьями и борщом из их продуктов, разумеется. Продукты старались отдавать не ей, а дочери — хорошенькой молодой Наташе. И он

тоже подолгу смотрел на Наташу — сдержанно, страстно и печально. Знал, что у него уже седеющие виски и — что бы он мог предложить ей?

С такой же затаенной нежностью приносил узенькие буханки хлеба в пансион — от знакомого булочника, постоянно оставляя их в долг, и часто отмахиваясь, когда опять не оказывалось денег. Ну уж какнибудь, в другой раз, пока он сам заплатит... как же не оставить им хлеба, когда у них опять нет?

Так же безнадежно махал рукой старый русский парижанин с седыми усами-щечочкой, занимавший один одну из самых комфортабельных и узких комнат в партере и предлагавший иногда французский коньяк рюмочками — по пятнадцати марок рюмка, совсем дешево. Это происходило вечерами, а с утра к нему тянулись в одиночку и группами небритые субъекты в дубленных полушубках, говорившие с неподдельным южно-русским акцентом и являвшиеся обычно в сопровождении когонибудь из «старых». К старым эмигрантам возник тогда особый интерес, смешанный с недоверием, завистью и страхом. Отношение «старых» было смешанным, но они редко отказывались помочь.

— Я ручаюсь и заверяю своей подписью, что знаю лично их всех — говорила балтийская баронесса с русским именем и отчеством, а главное — с латышским паспортом. — Они жили в Латгалии, неподалеку от местечка Јунлатгале, Пыталово тож... я их знаю. Они были действительно латвийские подданные.

Она умоляюще складывала руки, а «латвийские подданные» жались кучкой в сторонке и шумно вздыхали.

— Ну что ж — отвечал седой парижанин, — так и запишем. На вашу ответственность — старые эмигранты! Вы только смотрите... фамилии их запомните, на всякий случай записали бы себе в книжечку... Да и вы, братцы... выучите наизусть, как вас зовут. И чтонибудь там... из латышского.

— У нас в Латгалии целые волости были, где русские хуторяне совсем по латышски не говорили! Поэтому я... — вмешивалась баронесса.

— Я обязан верить тому, что вы говорите, раз ручаетесь. А на комиссии будут спрашивать...

— А справку дадите? — с надеждой и страхом слышалось из кучки.

— Давайте ваши данные и карточки, и я отдам на подпись, у Юрьева поставят печать, и у вас будет удостоверение. Только вы то... осторожней и, главное, учите, учите все, что надо. Засыпаетесь, не дай Бог на комиссии, Юрьева и так уже арестовывали не раз...

Доктора Юрьева, организовавшего комитет, спасавшего «справками» о принадлежности к старой эмиграции не одного

человека, действительно арестовывали не раз американцы, за ним охотились советские агенты. Но «справка» была тогда важнее всего. Насквозь фальшивая бумажка с печатью — любой печатью! — могла спасти человеку жизнь, и спасала...

— Спасибо, — крепко трясла руку парижанину баронесса, получая пачку новоиспеченных паспортных карточек.

— А вы того... не являйтесь сразу с целым взводом. Вы бы хоть по одиночке водили их! А то за один месяц у вас уже сотня крестников наберется. Нельзя же за всех одной ручаться... Один из ваших вчера свое имя спутал! Учите с ним, учите наизусть, а то опять брякнет, что из Харькова!

* * *

На втором этаже делались польские удостоверения, там было уже немного строже — надо было уметь говорить по польски. На третьем — обитали главным образом венгры и «братушки» — славяне — югославы, румыны, болгары. На самом верху — знаменитый Владек-Разбойник организовал «отделение латышского комитета». Настоящий комитет был где то в провинции, а может быть, его и не было вовсе. Но печать комитета, и бланки карточек-паспортов с надписями на трех языках — были. Снабжал ими Владек-Разбойник однако, с разбором, не меньше, чем за сто марок, и выбирал подходящих людей.

— Ну, если из Ленинграда, скажем, .. так я его, вроде, как ингерманландцем сделаю! За рижанина сойдет, северное... опять же, если по польски хоть два слова знает — есть приятель у польских комитетчиков. У кого восточный нос имеется — можно заявить, что он из рижского гетто бежал и скрывался — очень даже прекрасно теперь выходит. Но если человеку достаточно только рот раскрыть, чтобы сразу витрами буйными так и повияло, так увольте! Мне в комитете за таких латышей голову свернут. Нет, тяжелый случай. Стойте, а может быть он еще во времена гетмана Скоропадского смылся? Не подойдет по годам? Ну, что нибудь придумаем!

Насчет того, чтобы придумать, Владек-Разбойник был непревзойденный мастер. В ярко-синих, наглых и веселых глазах сразу загорался огонек, он встряхивал черными, теперь поседевшими кудрями, свистел, засунув руки в карманы, — и выход был найден.

Сам он был личностью не менее оригинальной, чем его «подданные»: после гимназии в Риге, он получил медаль за работу на звание мастера на выставке художественной мебели — а затем начался фронт: два ранения, два Железных креста. После этого он решил, что хватит. Дальнейшее руководилось вдохновением — и счастливой звездой. В зависимости от обстоя-

тельств он легко сходил за латыша, хотя был им наполовину, за русского, поляка, еврея, если было нужно, а при случае становился завзятым — «фольксдойче».

Остальную войну он проводил в командировках — то при одной части, то при другой. Иногда его искали с приказом об аресте полевые жандармы. Тогда он оказывался либо в эсэсовцах, либо в Гестапо. Потом обнаруживалась ошибка — и он выплывал в Латвийском добровольном легионе, или отвозил группу власовских казаков в Италию... Возил когонибудь постоянно: карманы его были набиты «маршбefeлями» и продовольственными карточками по самым лучшим разрядам. По ним он получал, большей частью либо в очень мелких, либо в крупных городах продукты и обмундирование: в первом случае действовали столичный вид и нахальство, во втором — совершенно отчаянное, но настойчивое вранье и обоснованная надежда, что при таком громадном аппарате кто там разберет...!

Получаемое загонялось частью на черном рынке, частью пропивалось или раздавалось добрым знакомым; карточки были настоящими, иногда и магические печати всемогущих учреждений — если не подделывались с помощью сырой картошки. Не существовало в большинстве случаев только одного: тех групп, которые он «сопровождал», или, во всяком случае, не в таких размерах — ибо из трех человек ему ничего не стоило сделать тридцать. «Нуль — говорил он, — великая вещь!»

Кудри поселили в Праге: сперва его чуть не расстреляли немцы за то, что власовская часть, при которой он был, подняла восстание с чехами. Он вывернулся, став немецким унтер-офицером в самый неподходящий момент, а именно следующий: немцы отступили, и его повесили, как немца, чехи, причем за ноги, и разложив внизу костер. Это был самый серьезный момент в его жизни: костер горел. Но он успел рассмотреть проходившего мимо советского офицера — и возопил таким виртуозным матом, что тот должен был остановиться... вывернуться же из советской репатриации особого труда ему не составляло. Только думать обычными категориями и понятиями нормальных людей Владек-Разбойник перестал вовсе. Совсем и надолго. На всю остальную жизнь.

Он жил в большой комнате наездами. Постоянных жильцов там было пять человек, но останавливаясь, спали, когда на кроватях «в набивку», когда на полу — множество разных людей.

Владек привез сюда даже из лагеря, откуда понадобилось спешно смываться, свою жену — хрупкую женщину с лицом деревянной Мадонны, и вечно мерзнущую, бледную девочку. Она обычно забивалась в угол на кровати, под скатом потолка, и высовывая мордочку из груды одеял, смотрела большими, внимательно-веселыми глазами на посетителей.

— Ганс — говорила она высокому белокурому «тевтону»: — Папа вег, скоро будет. Понимаешь, одер нихт?

«Тевтоны» тоже часто приходили к Разбойнику: светловолосые, сильные, здоровые парни, на которых трещали по всем швам старомодные пиджаки и брюки дудочкой: нафталинные запасы старых чиновников, драгоценный теперь штатский костюм. Владек славился также, как опытный «оператор». Операции он производил при помощи кислот и каленого железа: — вытравлял «эс-эсовский знак».

Эти маленькие пятнышки татуировки подмышкой — совершенно невинное обозначение группы крови на случай спешного переливания ее при ранении, делавшееся всем эс-эсовцам, как элитной группе, стало теперь роковым клеймом. От него надо было избавиться во что бы то ни стало. При всех проверках поднимали руку — и как раз татуировка была на таком месте, которое так трудно «ушибить нечаянно!» Но пятно от ожога или шрам после операции можно было объяснять как угодно: пусть никто не верит, но можно хоть самому врать!

Ганс прижился на «Хамштрассе», и часто ночевал на полу. Деваться ему все равно было некуда, и он постоянно сидел в комнатушке напротив. В эту комнатушку даже хозяйка пансиона затруднялась пустить еще одного человека. За выступом чердачной стены стояла кровать, покрытая пестрым ковром и цветными подушками жилички, а около нее — крохотная печка. Мольберт косо наклонялся над кроватью, и тут же открывалось большое окно в самой крыше, с широким подоконником. На подоконнике варился обед и валялись краски и палитры, старые подрамники с портретами теток и дальних родственников — судя по лицам и мастерству, с которыми они были изображены.

Этих «теток» выкапывал откуда то Ганс и приносил хозяйке комнаты — пышной киевлянке с черными косами вокруг головы и пушком над полной губой. Тетки замазывались нежным фоном, и на нем расцветали маки и подсолнухи, в вазах и без. Как только краски высыхали, Ганс тащил их на продажу — и продавал! Трудно поверить, конечно, чтобы ктонибудь покупал картины в это время — но они были действительно неплохи.

Тот же Ганс подал художнице мысль: сделать к Рождеству «ясли». В магазинах ведь все равно ничего нет! А ясли, объяснил он, пойдут непременно!

На ясли бегали смотреть изо всех комнат. И как то притихали сразу. Ганс сам наклеивал, разведя мучной клейстер, на крышу хижины кору, содранную с полена. Под крышей стояли выпиленные из фанеры фигурки, чуть подкрашенные акварелью, с сиянием вокруг головы.

У девочки задрожала нижняя губа, когда ей сказали, что это только на продажу... папа только что купил много самогона, он не купит яслей! Но зато он обещал ей сделать елку.

Владек-Разбойник из принципа обещал всегда все, небрежно рассыпая направо и налево заманчивые сверкающие обещания. Это ему ничего не стоит, а люди пусть радуются и верят: потом образуется какнибудь. Дальше завтрашнего дня он не задумывался вообще.

А кто думал — и кто мог чтонибудь думать под этой «крышей на пути» — в совершенно неизвестное нечто? На пути, где все кругом были враги, ибо советчики хватают и репатрируют, союзники, на которых была вся надежда, выдают, а немцы — немцы разбиты, озлоблены, растеряны, им самим нечего есть и не легче...

И надо жить как то: холодный, зимний туман на улицах, плачет небо, надрывно и безнадежно, серый снег расползается мутной кашей, промокают ноги, синеют руки в карманах облезлого пальто с чужого плеча... Надо есть, — но по карточкам дают пятьдесят граммов жира в месяц, да и то не в каждый, и не все могут получить эти карточки, нужна прописка, «удостоверение личности» — а чем ее удостоверишь, и можно ли?

Идти в лагерь? Там дают сигареты, белый хлеб, кофе, мясо — но туда приезжает комиссия, и лагерь окружают пулеметами для выдачи... нет уж, какнибудь, хоть на свободе умереть. Если удастся достать американского сыру в порошке, развести холодной водой... можно сразу пол-банки съесть! Нужны только деньги, чтобы достать, или еще лучше — чтонибудь...

Холодно.

...А ясли Ганс продал за триста марок, говорят! Ясли на Рождество. Ну да, двадцать четвертого декабря — Сочельник. Календарей тоже нет ни у кого, да и не все ли равно, какое сегодня число. Но кто-то знает. Вот, в пустой витрине магазина — пять шишек, обсыпанных каким то порошком, как снег: серые шишки, как и снег. Елок все равно не видно нигде.

Хорошо бы забиться в теплый угол — ну, хоть одеяло натянуть так, чтобы ноги согрелись — и не думать ни о чем. Ни-о-чем...

* * *

...В ночь на Сочельник Владек-Разбойник и Ганс отправились в экспедицию. В комнате давно не было угля, и все обломки, которыми топилась печка, кончились. Киевлянка, продав ясли, достала угля, и одолжила им четыре брикета, — но что ж

это за топливо? А Владек присмотрел лестницу — полчаса шептался с Гансом. Лестница была, что надо: крепкая, сухая, и длины необычайной: метров восемь, если не десять. Пожарная. Теперь ее положили поперек боковой улицы, привязав красную тряпку — развалины дома качались от ветра, могли обрушиться и задавить прохожих.

Тряпка развеялась по ветру дымным пламенем. Забота о человеке, такая неожиданная, объяснялась просто: в соседнем доме стояли «Эмпи», американские патрули, вот почему и загородили путь, чтобы не шатались зря: развалины рушились повсюду в городе, никто не оберегал ни их, ни прохожих.

Вечером, разумеется, выходить на улицу не разрешалось вообще. Но как будто впервые..!

... На свете много непонятных вещей. И никто никогда не поймет, каким образом они, стащив лестницу под самым носом «Эмпи» дотащили ее до двора пансионного дома. Во двор она уже не влезала. Она легла поперек и загородила все. Она, если бы поставить ее торчком, уперлась бы со двора прямо в окошко на четвертом этаже. Пришлось отказаться от мысли втащить ее в это окно, как предполагалось вначале...

Кто высунется темной декабрьской ночью из того жалкого кусочка тепла, который удалось, наконец, ухватить под одеялом? Кому дело до странных звуков на дворе? Что то визжит, стучит, кто то ходит по лестнице, что то бухает, и неожиданный возглас не предназначен для слабонервных.

Да, но попробуйте попилить ручной пилкой добросовестно сбитую, довоенную лестницу! Попробуйте расколоть ее зазубренным топориком, этого верблюда! Скинули не только пальто — в одних рубашках жарко стало. И темно ведь, сколько раз топором по рукам саданули, хорошо еще, что он и дерево почти не колет!

Одолевали до утра. Уже в гнилом, чуть брезжущем рассвете, шумно топя — теперь на все наплевать, тащили остаток лестницы — украдут, только оставь! — на четвертый этаж. Деревянные ступени старого дома трещали и гнулись. Лестница тыкалась, как поднятыми кверху пальцами, во все стекла, оставшиеся еще в коридорных дверях, выходивших на площадки. Она не хотела лезть дальше второго этажа. Ганс балансировал на перилах, чтобы повернуть ее под одному ему известным углом, — доннерветтер, не застрячь же с ней на половине дома!

В комнате ярко загорелась печка. Куча дров занимала всю комнату. Владек систематически и аккуратно раскладывал их под кровати, под столы, надстраивал второй этаж. В углу, надежным запасом, стоял, подоткнувши потолок, оставшийся кусок лестницы.

— Вы все таки молодцы — покачал головой Ганс, присаживаясь к столу покурить и оглядывая великолепие — мне бы это в голову самому не пришло.

— Ферботен? — рассмеялся Разбойник и высунул язык «тевтону».

* * *

Спали после этого до полудня, а вечером, когда Владек возвращался уже домой, и вдруг, в уцелевшей церкви, зазвонил колокол — он вспомнил о елке. Обещал, ведь!

Остановился и сплюнул с досады. Ну что было бы вспомнить раньше. Прошел бы в сад к какойнибудь вилле и срезал... а теперь придется сделать крюк. Крюк было сделать трудно, потому что он тащил два плотно набитых портфеля, а елок в редких садах, как на зло, не попадалось. Только одна замаячила за стеной — но такая высокая, что ему не под силу было бы сломать ее. Он остановился, положил портфели на снег, покрыв их для верности черепицей из соседней развалины, махнул через стену, и, поднимаясь на носках, нарвал веток — мокрых, смолистых, царапавших и бивших по лицу.

— Елка, папа! Елка!

— О, Танненбаум...

— С ума ты сошел...

Но Владек-Разбойник только фырчал. Деловито нахмурившись, он засучил рукава, и посвистывая, стал привязывать пучки веток к ступеням лестницы обрывками разных веревок.

— Оксана! — крикнул он через плечо в сторону, где была дверь художницы. — Малой звезду, а то дров не дам!

Ступенчатая елка выросла до потолка. Деревянная Мадонна кромсала ножом плитки армейского шоколада, неумело заворачивая их в голубую бумагу, и, подрезав ножницами хвосты, как у хлопущки, прицепляла к веткам. Приехавший только что общий друг — поэт, священнодействуя и моргая близорукими глазами, разливал самогон в пузырьки из под одеколona.

— Мерзавчики, мерзавчики каждому на елку! — суегился он.

Со всех сторон сбегались соседи. Хмурые югославы с третьего этажа упоенно кричали, сверкая зубами. Одутловатая длинноносая хозяйка поднялась, несмотря на одышку, хотя обычно избегала разбойного этажа, и протянула несколько свечек — в подарок. Дверь в комнату была открыта, толпились уже в коридоре.

— В лесу родилась елочка, в лесу она росла... — тоненьким голоском затянула девочка, когда вспыхнули свечи.

— И очень деревянная на радость нам была! — рывкнул Разбойник.

ПИСЬМО ПОЭТА

В маленьком городке знают даже, как зовут куриц... а это были барышни, и притом их было всего две: Лиля и Зина.

Барышня Лиля жила наездами из разных столиц у тетушки. Старый дом с березовой аллеей на скате горы был по провинциальному уютный, просторный и важный. Тетушка ворчала, не могла примириться с парижской косметикой, сигаретами, слишком прозрачным бельем. При виде чуть прикрывшей тело шелковой тряпочки, смущенно и грозно хмуря брови, допытывалась, позволяет ли она себя целовать этим молодым и распущенным теперь людям. Но Лиля уверенно болтала стройными ножками, и трясла тщательной завитой белокурой головкой. В двадцать шесть лет свободные девушки в наше время могут жить по заграницам, вести осторожные умные романы, и не слишком увлекаться флиртом, чтобы не портить фигуры.

Лиля ожидала действительно богатого жениха, и на провинциальных Иван Ивановичей смотрела, как на забавных медведей. Она сама сбивала для них коктейли и за спиной у тетушки протягивала для поцелуя руки выше локтя. А потом, вскружив головы, и взяв у тетушки побольше денег, укатывала учиться дальше, стараясь изо всех сил походить на современную деловую, бесстрашную и элегантную американку со страниц модных журналов.

Барышню Зину тетушка ставила ей в пример, хотя и тщетно. Барышня Зина жила с отцом — учителем, и сама тоже была учительницей. Она ходила в платьях длиннее, чем нужно, иногда освежая их старым кружевом. У нее были гладкие волосы, стянутые красивым узлом, бледное лицо и ненакрашенные губы. Она сама шила себе платья и штопала отцу носки. Читала все, что могла достать в городе, в библиотеке у Лилиной тетушки и купить на робкие средства по заманчивым газетным объявлениям о распродажах книжных складов.

Когда приезжала Лиля — Зина немедленно появлялась в большом доме. Лиля выбалтывала ей все, чем можно было

ослепить и взволновать провинциалочку, которую звала «старушкой», хотя та была моложе ее годами, и сама Лиля старалась казаться перед нею опытной старой женщиной, изведавшей все.

Потом давала ей несколько вышедших из моды платьев. Зина бережно прятала их у себя в шкафу. Здесь, в этом городке, некуда было надевать такие декольте. Она глядела чудесно хрустевший, льющийся в пальцах шелк и мечтала о том, что если скопит немного денег, то поедет в большой город, пойдет в театр, и тогда могут случиться разные вещи, о которых говорится в книжках на полке в Лилиной комнате. Там стоят толстые английские журналы, французские романы и модные стихи.

Стихи Лилия привозила специально для нее — сама она читала их изредка, чтобы знать, о чем можно говорить с литературными людьми. Потом эти сборники водворялись на полку барышни Зины, проделав длинный путь из витрины книжного магазина, перестав быть нарядными и новыми, но волнуя, раскрывая мир, презваниваясь с сердцем.

— Знаешь, когданибудь я возьму тебя с собой, — смеялась Лилия. Но подруги с собой не брала, и та попрежнему оставалась в глухом городишке: совсем серенькие будни, беспредметная тоска и влюбленность в стихи. Не только вообще, но в одного известного поэта в особенности, — того, который понял и написал о ее душе.

Над этим не надо смеяться. Не все, кто любит стихи — психопаты. Кроме ученических тетрадок, уроков, отцовских носков и мелкого хозяйничанья на кухне, барышня Зина была чуткой, серьезной девушкой, и если бы поэт знал ее — кто знает, может быть ему понравилась бы ее улыбка, может быть он мог бы написать какоенибудь стихотворение действительно ей. Но он и не подозревал даже, что где то существует такой городок — не говоря уже о барышне Зине.

А она знала слишком хорошо, — об этом говорило зеркало, Лилия, и даже тетушка, ставившая в пример: старомодная прическа, увядшее лицо, и бесконечная скука аккуратной жизни. О такой жизни нельзя писать поэтам. Они называют это провинциальной истерикой или еще хуже. Но ей так хотелось написать ему, и она решила собрать мечту по кусочкам.

Она дождалась, пока Лилия уехала кататься с очередным поклонником, а тетушка была занята, прошла в комнату Лили, села за секретер, подаренный тетушкой Лиле ко дню приезда, и взяла плотный лист сиреновой бумаги, с элегантно надломленной линией в углу — Лилия специально заказывала, ее уверили, что так гораздо изысканнее...



«...привет как я сама, печальному, привет тому, по ком тоскую я, привет тому, кого люблю...»

Вы не помните, откуда это? Впрочем, неважно. Эти чужие стихи, перезвоны через моря и дали, самому нежному и любимому — в привет. Я посылаю их Вам, вместо банального вступления. Вы, конечно, получаете много писем, и каждая незнакомка хочет сказать Вам что-то особенное. Но я — самая обыкновенная женщина и не могу заинтересовать Вас ничем. Пишу потому, что — можно же разговаривать с книгой? А все Ваши сборники стихов стоят у меня на полке. Теперь я переставила их в секретер, подаренный мне теткой. Мне так давно хотелось иметь такой, и вот вчера, на свое рождение, я заполнила его ящики и полки своими любимыми вещами. Знаете, карельская береза пахнет чем то трогательным и грустным, как первый бабушкин роман.

А за окном у меня простые березы, уходят аллеей через сад, и сейчас, когда в трех шагах слепит глаза белая, кольшащаяся стена, кажется, что аллея уходит в самую дальнюю даль — к Вам.

Представьте себе мягкое утро в провинциальном городке, уютный теплый дом, и у окна — девушка за старинным секретером, которой некому писать писем, кроме старика профессора. Но первое письмо за ним надо писать с затуманенными глазами.

Я никого не люблю. Может быть и Вас люблю только потому, что не знаю. Может быть Вы не говорите в жизни таких острых и томящих слов, (не могу же я думать, что Вы всегда говорите стихами!) Может быть, у Вас нет ни улыбки, от которой хочется петь, ни голоса, от которого хочется улыбаться, ни мечты, творящей жизнь. Я не знаю, и не хочу знать. Я хочу только, чтобы Вы знали: где-то, в каком то доме, Ваши ломаные, тревожные стихи мучают, печалят и пронизывают сердце. Так ведь можно влюбиться только в поэтов.

Как видите, я говорю только о себе — недостаток ограниченных и тщеславных людей. Но я не тщеславна. Я не буду просить на память ни Вашего автографа, ни портрета. Я знаю, что у Вас печальные, чудесные глаза — иначе Вы не могли бы писать таких стихов. И этого мне довольно. Я даже не прошу Вас ответить. Не подписываю письма, не даю Вам адреса. Может быть, когда я снова почувствую себя такой нежной и мягкой, как эта снеж-

ная дымка аллеи, я напишу Вам снова. Вы не рассердитесь?».

* * *

Она шла крадучись к почтовому ящику, помолодевшая и радостная, как будто обманула строгого учителя. Вечером плакала и тыкала иголкой в большую дыру, растянутую на деревянной кухонной ложке. Ногам было холодно, и она утыкалась покрасневшим лицом в колени, и краешком глаза косилась на зеркало, в котором растрепались слишком гладкие волосы, и нос казался совсем вытянувшимся. Как невыразимо тяжело терзаться собственной глупостью, некрасивостью и ничтожеством, и в этом не помогут ни книги, ни прикрашивание жизни поэтической ложью — в письме к чужому.

* * *

Барышня Зина долго ждала — ответа. Каждый день казался ей неделей, а потом побежали недели, как дни. Она стала задумчивой и мягче, часто вместо уроков в школе рассказывала сказки. Ребята сидели настороженно и тихо, с круглыми глазами, поводя губами в такт замечательных слов. В этих сказках всегда был прекрасный принц-королевич, находивший свою принцессу.

Ломкими весенними вечерами барышня Зина рассказывала сказки самой себе. Письмо было без имени, без адреса, но на нем штемпель. А что, если он заинтересуется, придет сюда. ? Пойдет по улицам, внимательно смотря на разбегающихся собак и мальчишек, от лица к лицу, дальше, дальше. Конечно, его проведут к учителю, который должен в таком местечке знать все, и... ах, Боже мой, чего не может быть в сказках!

Барышня Зина долго ходила весной по улицам, в обволакивающих сумерках синего марта, и веселая солнечная капель, перезванивавшаяся утром, к вечеру застывала хрупкими тревожными сосульками. Они падали, разбивались звенящими брызгами от малейшего вздоха оттаивающей земли.

Весной, в половодье барышня Зина простудилась и умерла от воспаления легких. Она промучилась всего три дня. Даже не мучилась — только смотрела воспаленными от жара глазами на потемневший потолок комнаты. Тетушка устроила поминки, и деятельно распоряжалась всем, вместо убитого горем отца. На простенькую могилу вбили белый крест, и наспуленные ребятишки пропели ломающимися голосами вразброд веч-

ную память. Под ногами у провожающих хлюпали весенние лужи и пахли перегоревшей прелью прошлогодние листья. Был конец Великого поста. Священник, уставший от долгих служб, तोпился домой.

Босоногая весна, разметая ненужную прошлогоднюю траву, уходила дальше, в поля, навстречу зовущим, победным голосам земли. Над городком дрожало свежее вымытое небо, и жизнь уходила все дальше и дальше от маленькой могилки с белым крестом, где лежала девушка с закрытыми глазами, в которых никто так и не прочел мечты.

* * *

«И говорила Ингрид Эрику, и говорила Ингрид дальнему, такому дальнему и милому, страны печальной королю: Привет влюбленному любимому, привет как я сама, печальному, привет тому, по ком тоскую я, привет тому, кого люблю...» А знаешь, это совсем не плохое стихотворение. Чудесная сага. Чей перевод — Бальмонта или Гумилева?

— Бальмонта, конечно. И пожалуйста, отвяжись от меня со своими психопатками. Провинциальная барышня, истеричка, обожает Вертинского, поет фальшиво цыганские романсы и влюбляется на расстоянии... Одно это уже доказывает, что у нее не все в порядке. В наше время, подумаешь!

— Можно подумать, что ты сам никогда не влюблялся... а еще поэт! Судя по почерку, она...

— Почерк ученический. Если она интеллигентна, в чем я сомневаюсь, то еще хуже. Я понимаю простое здоровое чувство, а не эти психологические надрывы полупочтенных девиц... Без подписи, без адреса... Брось письмо в корзинку для бумаги. В конце концов, мне нужно работать.

Поэту надо было работать. Он так рассердился, что сам налил себе стакан чаю цвета кофе, закурил, и сел писать рекламу в стихах для модного магазина: ни критики, ни читатели никогда не задумывались над тем, что самому известному и любимому автору тоже нужно иногда есть.

«Отменен вкус у парижан, но и другим талант сей дан, и у кого отменный вкус, не ходит голым, как... как зулус!» Черт возьми, причем здесь зулусы!?

Поэт писал полчаса, яростно насивистывая. Потом плюнул и пошел прогуляться, хлопнув дверью.

В комнате густо просеивался табачный дым. Февральские вечера стали уже длинными, в открытое окно плыли дымные сумерки, пахло свежо и остро тающим снегом. Ксан убрала

стакан, кучу окурков, пригляделась к разбросанным бумажкам. Среди черновиков рекламы было несколько других строчек:

«Милый друг! Мой ответ Вам диктует не нежность, не жалость, не желание блеснуть перед Вами изящным стихом. Я хочу Вам сказать: у меня ничего не осталось — даже тени того, для чего мы на свете живем... Я достаточно стар — не годами, не телом, — душою, и она не звучит, не дрожит, обреченная тлеть. По сравнению со мной Вы мне кажетесь ясной, большою, — гордой этим стремленьем куда то, зачем то взлететь. Я давно ироничен, циничен, издерган, не верю: ни в кого, ни во что, ни в людей, ни в божественный свет. Я давно и без слез хороню за потерей потерю, я забыл все слова, кроме очень короткого: нет».

Ксан улыбнулась. Поэт был, как все поэты. Загорался тем, что было видно только ему одному, увлекался тем, что ему не давалось, ревниво оберегал самое дорогое, но вслух даже подсмеивался над этим. Плакал потихоньку и беспомощно бился обрезанными крыльями в сутолке сереньких дней, расцветивая их чем то, ускользящим от цепляющейся мечты. Он мог быть невыносимым человеком в те дни, когда добивался предельной ясности образа и стиха, и влюбленным и ласковым, когда закрывал глаза на жизнь.

Ксан знала его раздраженным всегда, ласковым редко. Она была замужем за ним уже несколько лет, очень любила его, и ей хотелось, чтобы другие чувствовали его обаяние, трепетную ласковость.

— Ты всегда стараешься повернуть меня лицевой стороной к свету, — говорил поэт — а я не хочу только казаться. Прежде всего человек должен быть откровенным и прямым, а не кутаться в бархатные плащи на голубой подкладке.

У Ксан были умные, немного печальные глаза и ласковая улыбка. Он дал ей прочесть, конечно, письмо влюбленной девушки на сиреневой бумаге, с изломанной линией в углу. Убирая стол, Ксан вложила в сиреневый конверт листок бумаги со строчками стихов. Может быть, когданибудь она напишет снова, и он ответит, пошлет ей эти строчки. Ксан положила его под груду неотвеченных писем.

* * *

Зайдя к знакомой, Ксан увидела у нее на столе точно такой же сиреневый конверт. В него был небрежно засунут листок с изломанной линией в углу.

— Какая знакомая бумага, — сказала она, беря в руки конверт.

— Где? Ах, это... это письмо от Лили.

— Мне кажется, что я ее знаю... Как ее зовут?

Так Ксан узнала имя и адрес. Девушка, написавшая письмо, ждала уже несколько месяцев. Может быть, ждала каким то чудом какого то ответа, хотя его не могло быть, но не решалась писать сама второй раз. Может быть, потому, что шла весна, и ее тоска среди белых берез была слишком острой? Закрывая глаза, Ксан очень ясно представляла себе девушку у секретера. Она еще очень молода, раз может так мечтать. Пусть это будет подольше. Пусть в эту весну будет неожиданная радость в старом доме. Ведь стоит только — написать письмо. Просто — переписать стихи, наклеить марку — и у милой девушки будет сказка. Как легко дать другим сказку! Но дают обычно те, кто ее сам не имеет...

* * *

Проездом через город Лилиа купила несколько книг. Среди них — новый томик стихов известного поэта. Пусть перекоцует потом на полку этой романтической «старушки».

— А Зина умерла — встретила ее тетушка.

Лилиа была искренно огорчена. Пребывание у тетушки у нее неизменно было связано с Зиной. Зная, что об этом будет говорить весь городок, она срезала выращенные тетушкой розы и отправились на кладбище.

Найти могилу было нетрудно по свежему кресту, но Лилиа несколько раз споткнулась на нечищенной дорожке из-за высоких каблуков. Присесть она не решилась. Только постояла несколько минут, перекрестилась, положила розы, красивым пятном расцветившие зелень, и медленно пошла домой. Ей было искренно жаль своей «старушки».

Дома перелистала томик стихов, который теперь было некому подарить. На столе лежало несколько писем, полученных до приезда. И среди них одно, которое она перечитала два раза. Адресовано ей, но без обращения — только подпись. Подпись поэта. И не письмо в сущности, а одни стихи. Даже «ответ». Что за ерунда! Она никогда не писала ему, не видела, нет даже общих знакомых. «Милый друг, мой ответ Вам диктует не нежность, не жалость...» Загадочно и непонятно. А какой покровительственный тон! Удивительно, до чего все эти поэты снобисты! В особенности своими «не» и «ни». Как будто от того, что они не видят ничего хорошего в жизни, она перестала быть хорошей для других! Написал бы по крайней мере

чтонибудь оригинальное, смелое, новое. Но с какой стати писать именно ей? Где он видел ее? Это просто нахальство. Лилия была искренно возмущена.

* * *

Когда она снова поехала в город, то узнала, что среди приглашенных на гарден-парти будет и поэт. Он увидел ее в легком парижском платье с розами на шляпе и на груди. На грудь Лилия приколола розу, чтобы показаться самой себе немного старомодной.

— Я с недавнего времени хочу с вами познакомиться — протянула она, оценивая его костюм, который был, к удивлению, неплох. — Скажите, вы часто пишете письма незнакомым людям?

Поэт был в своем очаровательно высокомерном настроении.

— Вам наклевали. Только жена может заставить меня писать письма вообще. Сейчас она уехала, и представьте себе, уже вторую неделю посылаю ей уже третье письмо, чтобы она объяснила, куда девался мой ключ от квартиры...

— «Я давно ироничен, циничен, издерган, не верю...»

— Это стихотворение — одно из самых слабых во всем сборнике.

— И однако, когда я приехала домой, то на моем секретере...

— Вы живете в провинции? — Поэт нервно закурил. — Простите, у вас есть секретер? Вам подарила его тетушка ко дню рождения?

— Но позвольте, откуда...

— И за вашим окном уходит в даль березовая аллея, на которой вы любите мечтать?

В его глазах появился такой странный оттенок, что Лилия, не веря собственному голосу, прошептала:

— Я могу пойти по ней вместе с вами, если хотите. Тетя будет очень рада, если вы приедете погостить. Кстати, к нам собирается и ваша знакомая...

* * *

Осенью поэт писал своему другу:

«...Я брожу сейчас по чудесной золотистой аллее. Ты знаешь, как легко пишется осенью, самая моя рабочая пора. Но сейчас я не чувствую обычной боли и тоски. Или она свет-

лая, и пронизанная только легкой грустью, как этот золотой сентябрь. Я провел лето в чудесном провинциальном доме, и под тихое ворчание почтенной толстой тетушки пережил незабываемый роман. Я только сейчас убедился в том, что раньше мне казалось смешным и маловероятным в наше время: в каждой жещине есть скрытый где то глубоко кусочек романтики.

Представь себе: зимой получаю письмо от провинциальной мечтательницы, девушки с длинной косой. Такой, во всяком случае, я представлял ее себе. Я посвятил ей стихотворение в своем сборнике, не зная даже ее имени. И она догадалась, почувствовала, что это именно ей. Мне кажется, что мы встретились не случайно... А как эта современная, элегантная, привыкшая к цинизму девушка слушала стихи! Я прочел ей Северянинское: «О девушке, не позабывшей Блока...»

Мы читали стихи все лето в березовой аллее. В провинции сохранились еще такие гостеприимные радушные люди. Мои рекламы я мог писать и здесь, тем более, что Ксан поехала на все лето к сестре, и знаешь, даже бездарная рекламная ерунда выходила лучше — от того, что я знал, как она будет смеяться над этими виршами...

Но чудесное лето, розовое и солнечное, как шиповник, кончилось. Только теперь я начинаю чувствовать острые шипы. Наступает осень, и она уезжает в Париж. Может быть, встретимся через год. Ты знаешь, я не могу бросить Ксан, и она ничего не должна знать об этом. Но ведь каждый должен брать радость, где она дается, а я сейчас полон такой умиротворенной радостью, что готов целовать, если бы не выбросил его сдуру, ее сиреневый конверт — это ее бумага — с трогательной цитатой из послания Ингрид — ее первое и единственное письмо: «Привет тому, кого люблю...»

И — обычная нелогичность женщины: она никогда не говорит о нем, а я не хочу напоминать. Мы оба бережно храним эту тайну первой встречи — издалека...»

Хранили еще двое: задумчивая Ксан и бедная барышня Зина.

КОЛЬЦО НИКОЛАЯ УГОДНИКА

Это кольцо никогда не принадлежало святителю Николаю. Оно было не святыней, а реликвией сердца, быть может — греха. В жизни часто встречаются камни, и в них, и о них, бьется глупое человеческое сердце. Разбитые часы отказываются починить даже самые жуликоватые мастера, но сердце продолжает раскачивать маятник крови; трещины выражаются в рецептах докторов, а что касается сердечных мук, то они достаточно воспеты всеми поэтами. Кроме поэтов, их обычно никто не замечает.

В тяжелом, золотом перстне с выпуклыми наплывами, оттененными чернью, мутнофисташковым пятном зеленел скарабей. Настоящий скарабей найти не легко. Может быть, это действительно окаменевший жук, символ бога Ра-солнца и вечной жизни: может быть, он сделан из особой мастики или вырезан из полудрагоценного камня; египетские мастера хорошо знали свое дело.

Несомненно одно: в скарабях тысячелетия солнца, впитанные пирамидами: они могут приносить счастье, но не на каждой руке, и это так и должно быть: под солнцем тоже ведь не каждому есть место.

Херр Тильнер недавно надел кольцо: случайная покупка у какого-то гестаповца под утро довольно сумбурной и пьяной ночи. Гестаповец сказал, что в кольце минимум десять граммов; ювелир на следующий день взвесил — двенадцать. Ювелир говорил еще что то и о «скарабеусе».

— Броде малахита? — спросил еще Тильнер. — Камень, конечно, ничего не стоит, но золото...

Херр Тильнер знал цену золоту — сто двадцать марок за грамм на черной бирже. Марки — пивные этикетки, которыми скоро можно будет оклеивать стенки, потому что война явно проиграна. Херр Тильнер носил на отвороте пиджака золотой партийный значек, и, зная все это, напивался почти каждый вечер.

* * *

На площадке лестницы было две двери рядом: на одной эмалевая дощечка: — «Институт красоты», на другой ничего, кроме пятна от сорванного почтового ящика. Херр Тильнер прекрасно знал, что «Институт» заключается во фрау Лене Шмидт, делающей маникюр. Молодая зубастая берлинка, очень толстая, очень шумная, глуповатая и довольно сердечная женщина. У нее было много клиентов.

— Фрау Лене ушла в кинематограф и должна сейчас вернуться, — сказала соседка, отворившая свою дверь после неистовых звонков Тильнера.

Соседка была иностранкой. Херр Тильнер часто видел ее и даже начал кланяться. Она жила совсем одна — муж сидел где то в провинции, а она под бомбами непрерывно чинила квартиру. Такие странные глаза у этих иностранок — и такие трудные имена!

Херр Тильнер прислонился к косяку двери, поддерживая локтем толстый портфель. В портфеле была бутылка коньяку и много вещей, недоступных по карточкам.

— Попробуйте вот эту грушу, — сказал он и полез свободной рукой в портфель. Хорошенькая женщина с такими странными глазами — прямо жаль! — И вот вам еще шоколад.

В улыбке иностранки Тильнер увидел только обрадованность — он не считал себя пьяным, а других ее мыслей не знал. Не знал и еще одного: повернувшись тяжело навстречу фрау Лене, он скользнул рукой по выщербленному косяку. Перстень со скарабеем чуть звякнул о дерево и упал на полковик.

Ташенька захлопнула дверь. Получать шоколад от друзей фрау Лене, да еще вдребезги пьяных, не очень лестно, но — она так давно не ела шоколада! В конце концов: сидит она под налетами, или нет? Пусть награждается и добродетель — добродетель всегда несчастна.

* * *

Фрау Лене ворвалась на следующий день, как всегда, с грохотом небольшой бомбы, лаем собачки и хлопаньем по бедрам.

— Фрау Таше! — Собственный каламбур — по немецки «Таше» — «сумка» — всегда приводили ее в восторг. — Посмотрите, что я нашла. Иду в темноте и вижу — блеснит. Бриллианты в платине! А теперь разглядела — и полное разочарование. Вульвортская дешевка. Так жаль!

Мелкие серебрянные гвоздики в вытянутом ромбе кольца блестили действительно, как звездочки. Фрау Лене швырнула кольцо на стол.

— Подарите вашей советской девушке и скажите ей, чтобы она непременно пришла ко мне убирать в субботу, я дам ей туфли. Хорошо?

Она подхватила собачку, смахнула ее хвостом карандаш и бумагу со стола и выскочила, не прощаясь, размахнув двери толстыми боками.

Это было через полчаса после налета, и Ташенька устала: пустота в груди и в голове, в горле холодный запах извести и гари. Николай Угодник охраняет дом, поблескивает олеографным золотом риз в углу — и надо благодарить Бога, что и на этот раз благополучно, а вместо этого — звенящая пустота в груди.

Что там смахнула со стола опять эта неистовая «институтка»? Ну и пусть. Завтра можно убрать. Сейчас только лечь и ни о чем не думать.

В этот налет погиб Херр Тильнер.

* * *

— Тетя, — говорит Валя, советская девушка с темным лицом и огромными руками — вы там кольцо обронили, так я положила на комод.

Ташенька улыбается. «Комод» отличается от обыкновенного столика только тем, что на нем стоит зеркало, но какая же спальня может быть, по представлению Вали, без комода? И — «тетя». Назвать ее Таней, Валя не решается; о «барыне» она не слыхала даже, а имя и отчество — это уже тонкость. Валя хорошая работница, честная, глуповата, мрачно сопит и не задает вопросов, отвечает на них тоже неохотно.

Когда она уходит, Ташенька вспоминает, что хотела подарить ей кольцо фрау Лене. Ну, в следующий раз...

И забывает, конечно.

Тишина августовского неба, опустившись на улицы, становится тишиной развалин, улицы не грохочут больше. Оранжево-серые груды щебня, кое-где уже с порослью травы. Черно-серые остовы домов с пугающей симметричностью провалов окон. Когда-то из них выглядывали человеческие лица, теперь режущие и жутко смотрит пустое небо. С домов оборвана красивая полированная кожа штукатурки. Обоев, ковров, домашнего уюта. Этот слой оказался очень тонким. Под ним железные кости, мяс кирпичей и пыль, пыль, пыль.

Полумертвый город. Каждый день он подкрашивается слегка: развалины выкладываются стенками на ухабах тротуа-

ров, окна забиваются картоном и заплатками досок, на гудах камней, как пугала, раскладывают руки разноцветные плакаты: каждый вечер в щемящей темноте на небе вспыхивают острые арки прожекторов, нащупывающих смерть, жалкая человеческая попытка радуги на выворот — перед грозой. Каждый вечер — ожидание смерти.

В окна комнаты развалины соседнего дома бросают отраженное небо. На окне нет занавесок, стены сбиты из квадратов серого картона, пол тоже стал серым от сыплющейся извести. Кровать, туалет, письменный стол; обстановка напоминает скупые гравюры.

Ташенька встала рано, хотя сегодня воскресенье, и вычерчивает на прохладном белом листке эскиз куклы, виденной где то.

Девочка разорвала и смяла куклу. Остались растопыренные руки и ноги, свитые из проволоки, белый балахон на палочке и уродливая голова с обнаженными провалами глаз и громадным, перекошенным ртом. Кукла шагает через развалины и смеется деревянным смехом — в скрюченных пальцах болтается, как крылатая гусеница с громадными слепыми глазами — четырехмоторный бомбовоз...

Рисунок очень удачен. И она довольна, давно не работала так, но на продажу это не годится. Тем лучше, останется для выставки — потом.

В двери зашуршала просунутая газета. Ташенька налила ячменного кофе, намазала бутерброды и развернула лист. Жирной лентой заголовков — о потопленном тоннаже — значит, неважные дела, если даются общие цифры — кто там на море разберет...

Прорыв фронта! Бои на улицах... маленького балтийского городка кактусов, герцогских замков и старых дев — городка, где Леля и все свои — советские танки на улицах города вчера — сегодня — сейчас может быть, или... конечно уже все...

Ташенька вскакивает и мечется по комнате, задевая за кресло. Мысли сливаются клубком, как спутанные ножи, и каждый режет... Кто спасся? Кто молится сейчас, быть может, в последний раз... Брат... Сестра... Господи!

— Помоги, Николай Угодник! — кричит Ташенька, и ей жутко от того, что она кричит. Она осторожно садится к столу, кладет руки на скрещенные пальцы, смотрит неотрывно на иконку в углу. Это совсем новая дешевая иконка: на дощечку наклеена лубочная картинка: Николай-Чудотворец с синими глазами в сине-алых с золотом ризах. Ташенька часто разговаривает с ним — с кем же еще поговорить здесь, одной в Берлине, под бомбами? Он все таки видит. Он все знает. Только он может помочь, если она заслужила чудо. Чудо, как и

счастье, бывает, только его надо заслужить. Но Ташенька никогда не молится больше о счастье — его не было и не может уже быть теперь. Сергей очень любит ее, и она его тоже, спокойно и ровно заботится о нем, только приятнее всего оставаться одной — свободной и веселой. Но Леля только что выпшла замуж, и они так счастливы... Николай Угодник, сохрани их, помоги им, спаси! Родной мой город, каждый камень, поворот улицы — годы жизни... умереть — чтобы легче... Святитель Николай, ничего не прошу для себя — да и не за что мне давать чтонибудь, только Лелю спаси! Леля так долго мучилась, теперь только свет увидела, и вот...

Плачет Ташенька и головой о стол бьется. Ласково и проникновенно грустят над нею синие глаза Угодника Николая. Неразумные люди и не знают, чего им просить: ни давать, ни получать не умеют. А сколько их молится, и каждому нужно что-то: кому умереть, кому жить помочь...

* * *

— Ташенька, что у тебя за кольцо? Почему не показывала до сих пор? Замечательное какое! И просто так лежит... Его же в чемодан налетный спрятать надо...

— Какое ты там еще кольцо нашла?

— Да вот на туалете. Ужасная неряха! Пуговицы, иголки, и вместе с ними — ведь это настоящий скарабей! Что же ты мне ничего не говорила о нем?

— Леля, у тебя после бегства до сих пор голова кружится. Какое кольцо может быть у меня на туалете? Ах, да, это мне фрау Шмидт подарила, на улице нашла, я его хотела Вале, уборщице, подарить.

— Ты с ума сошла!

— Черт знает, что такое, рисовать мешают. Давай его сюда, Леля, Леля... да ведь это другое совсем! Золотое... скарабей... настоящий. Ничего не понимаю.

— И ты не знала ничего? Может быть, Сергей Александрович оставил?

— Нет у него такого... Никогда вообще...

— Как же так? Забыл ктонибудь?

— Забыл и не спохватился? Ну, знаешь, сказка какая-то. Сперва твое чудесное спасение, сейчас — кольцо неизвестно от кого. Пикантное положение: в спальне женщины, живущей без мужа, на туалете забыт мужской перстень... Сергей ни за что не поверит, старый ревнивец. Анекдот! И ни у кого я не видела его. Да и кто же был у меня здесь? Кроме святителя Николая и не разговаривала ни с кем...

— Может быть — есаул оставил...

— Он на кухне сидел, там теплее.

— Действительно, непонятно. Чье то оно должно же быть? Не Угодника же Николая?

— А вдруг?! Тебя он мне спас, из под налетов вызволяет — вот и подбросил кусочек золота и скарабей на счастье. Только почему же мужское тогда? Надо будет спросить всех в круговую — кто потерял.

— И глупо сделаешь. Кто до сих пор не спохватился — не стоит скарабея. А, может быть, ктонибудь хотел тебя втайне обрадовать, и не признается все равно. На жулика еще нарвешься — скажет: конечно мое, давай сюда! А сам первый раз его видит. Вот если ктонибудь спросит, другое дело, отдавай, хоть и жалко. Скарабей счастье приносит. И это, повидимому, настоящий — посмотри, цвет какой — точь-в-точь, как глаза у тебя — защитного цвета. Таких вторых не найти...

* * *

Вторые такие же, зеленовато-серого скарабейного цвета, нашлись. Схожесть глаз — одинаковость душ. Когда Ташенька увидела их, сразу потянуло сесть рядом, положить ему голову на колени и прислушиваться, как бы он гладил ей волосы — тихонько и нежно, понимая все. А из тепла и нежности выросло такое сияющее счастье, что зимнее небо выкупалось в золоте, белая пудра снега, такого неожиданного в Берлине, засинела родными сугробами, и Ташенька улыбалась навстречу всем. Самых простых и серых позолотило это солнце.

Только и видела зеленые глаза, только и тянулась к ним, — только на Николая Чудотворца в углу не смотрела больше — потупила голову, не поднимая глаз. Благодарить бы за это солнце в груди — а нельзя, грех.

Вместо лика Угодника проступало лицо Сергея: гневно наспливались брови, презрительно и сурово сжимался рот.

Крылья за спиной падали тяжелым камнем, отдавливавшим плечи. Но за счастье платят; потом, за какой то стеной, глухо замыкающей все, она будет плакать, мучиться и платить. Потом, потом... бывает счастье!

* * *

Человек с зелеными глазами, в меховой куртке, распахнутой на широких плечах, осунувшийся и бледный, прижимает к груди руки Ташеньки, руки, создающие такие острые и тонкие гравюры, — такие похолодевшие и беспомощные, слабые руки уходящей любимой.

— Что же теперь, Ташенька?

Ташенька достает из грудного кармана крохотный комочек шелка. Тяжелый перстень легко и плотно оковывает палец.

— Это тебе, милый. Кольцо Святителя Николая. Самое дорогое, что у меня есть, все тебе теперь отдала. Пусть хранит... не в каждой же пуле смерть? Но когда война кончится, мы встретимся, и заслужим наше счастье... если Николай Чудотворец поможет.

— Ты сказала мужу?

— Так и сказала. Он не верит, не хочет меня отпускать. Ему ведь тоже больно, милый. Но я не могу иначе.

— Через полчаса уходит поезд... Любимая моя, Ташенька, да неужели же может быть человеку так больно, так больно? Не могу я оставить тебя одну... глаза мои любимые, живые скарабеи — что бы то ни было, ты ведь все равно моя?

— Твоя, милый.

В нетопленной, темной и голой комнате, на столе без ска-терти остается пустая бутылка с холодным и кислым запахом белого вина и два стакана. Окно упирается в тупик развалин, как в пепельницу с застывшими окурками — в серый, мутный, давно перегоревший пепел... Глаза выцветают в темной тени обводков, как неумелый грим... Сердце бьется неровно и устало, пересчитывая ступеньки облезлой лестницы: встретимся — никогда больше — встретимся — никогда...

* * *

— Где ты была?

— Пошла проститься. Уезжает на фронт.

— Хоть в последний раз, да досыта? Потаскуха, уличная девка, художница. Намалевал он тебе синяки под глазами! Неужели тебе ни капельки не стыдно в глаза мне смотреть? Нет, ты смотри, глаз не опускай. Я тебе не Николай Угодник в углу — хочешь — молишься ему, хочешь — полотенцем закрыла, чтобы он сраму не видел. Я Богу не молился, когда все кругом чистые рубахи надели, надежды больше никакой не было. Сам себе говорил смирился, Сергей, помолись! И все таки не молился. Но я чистый человек, и мне никому не стыдно в глаза смотреть, да я скорее убил бы себя, чем срам принял. А ты? О грехе, о мерзости тоже молиться будешь? Ошибка, мол, вышла! Художественная натура! Вранье, конечно, что ты с ним недавно познакомилась. Вы уже давно снюхались — недаром ты мне все о разводе толковала: устала, мол, от семейной жизни, одной веселей. Чем я тебя стесняю? Жена должна сидеть дома, конечно, и чужих мужчин в отсутствие мужа не принимать. А хочешь рисовать — рисуй. Так ведь для чего ты рисуешь? Тщеславие все, чтобы льстили тебе... Подожди, я тебе

еще выколю глаза, выжгу, тогда порисуешь — нечем будет хвастаться! Нет, никуда не уйдешь, дверь заперта, можешь кричать, никто не услышит, и твой хахаль тебе не поможет. Первая же пуля ему в лоб будет, не беспокойся, и не спасет его, если к штабу примажется... Такие охотники за чужими женами не очень-то передовые линии любят... Да, пожалуй, не падай в обморок, это — все твои гравюры на полу, все до одной — в ключья. Вот тебе твоя выставка — полюбуйся! Пальцы бы тебе переломал, чтобы не рисовала больше ничего, а то ведь теперь начнешь Цезаря своего выписывать. Ясно, что Цезарь — и профиль римский! Дрянь проклятая! Где скарабей твой? Наверно подарила, своему отдала, а ведь никогда расставаться с ним не собиралась. Я искал его уже, растоптать хотел, вот как тебя сейчас топтать буду, и иконку твою! Недостойна ты на нее смотреть, Угодника Божьего еще своим сводником сделаешь! Уйди, не мешай мне, раз я сказал, сволочь!

Боль от извивающегося под твердыми пальцами горла, от внезапного перерыва дыхания дробными молоточками раскатилась в ушах и оборвалась странным коротким звоном, как всплеск в темноте.

Дощечка с иконой только покачнулась в углу, но удержалась.

Святой Николай в сине-алых ризах задумчиво и строго смотрел на лежавшую на полу, на разорванной груди картин, Ташеньку, на лужи воды, неумело и растерянно проливаемой Сергеем, на кровь, медленно стекавшую с разбитого лба.

Зеркало, сорванное с туалета, было слишком большим для посиневших губ. Сергей лег под него рядом с нею, держа его, как крышку, пока не уловил матового отблеска.

— Жива, значит. Что же я наделал, Господи!

Отодвинул зеркало, прижался к ней, как большая собака, отогревающая мохнатым животом утопленного щенка. Неужели она холодеет? Да нет же, дышет еще. Может быть, искусственное дыхание сделать? Сама же виновата, зачем уходила прощаться, зачем пропадала так долго, зачем вообще допустила до этого. И ведь уперлась главное. Сказала бы, виновата, мол, прости... Ну, может быть, простил бы все таки. Случился грех. Нельзя оставлять долго женщину одну, надо было с ней жить, а не пытаться уходить хоть одному из под налетов. Разве вот то, что сейчас было, не хуже даже смертного страха? Так ведь нет. Не эпизод, не случайная слабость, а самый мол, настоящий и единственный. А он сам тогда кем был? Что же — ложь и притворство, игра только?

Правда, она с самого начала говорила, что они не подходят друг к другу, спорили часто, не нравилось ему многое в ней.

А все таки самая родная она и никого кроме нее нет, и не может быть, последнее ведь это, жизнь прожита... Если бы она слышала сейчас, какие у него ласковые слова в сердце, только сказать он их не умеет... Ташенька, Ташенька!

* * *

— Год тому назад в эти самые дни я приехала к тебе в Берлин, Ташенька, помнишь? Но из Данцига я ехала тогда со скорым поездом, и знала твой адрес... А вот как ты, на товарных поездах разыскивать, неизвестно куда и где... Молодец, Ташенька! Мне все время казалось, что ты найдешь нас, и именно так неожиданно и появишься на пороге. Если бы не Сергей, я бы нисколько не сомневалась в этом. Как он отпустил тебя одну? Разошлась окончательно?

— Еще нет, Леля. Если не найду... вернусь к нему. Мне все равно будет, а ему — легче. Зачем доставлять другому страдание, если можно его облегчить?

— Ну, это твое дело. Я простить не могу, но не вмешиваюсь. А относительно того... знаешь чтонибудь?

— Несколько дней жила в Мюнхене. Каждый день оставалась на всех мостах через Изар. Удивительная вода в этой реке: даже при самом голубом небе всегда остается зеленой, как скарабей, как... наши глаза. Он был в Праге во время восстания — только это и знаю.

— А ты не отчаивайся. Найдешь. У нас такой уж счастливый лагерь. К Нине Александровне вчера муж приехал... тоже погибшим считала... Ты чего улыбаешься?

— Нет, я так, из другой оперы. Альбом своих зарисовок вспомнила. Если бы сейчас стол да бумагу с тушью... На целую выставку материала хватит. Мотто: «На дне... сорок пятого года». Люди на платформах с углем, на вокзальном полу, в бункерных отелях, в лагерях, на улицах, на дорогах... Это уже не беженцы, не иностранцы, не «разбомбленные», не пленные даже... Несколько миллионов людей, которым терять больше — нечего, деваться — некуда, и все куда то едут, или собираются ехать, и все ищут, и сами не знают, что не только родных или близких ищут, хватаются за них, как за соломинку, потому что потеряли жизнь. И все надеются. Слава Богу, что так. Я — тоже.

* * *

— Ташенька дорогая, вы ли? Господи, какая встреча. Ну, кто бы мог подумать! Вы давно уже здесь? Кого еще видели?

Леля где? Да что же мы стоим? Идемте, здесь неподалеку замечательное мороженое дают... И поговорить можно. Я так хотела встретить родную душу: у меня столько переживаний, и столько дел, и я сейчас просто не знаю, как поступить — надо посоветоваться, излиться...

— Перепелочка, вы все такая же...

— Да, никогда не забуду вашей карикатуры; весь город меня дразнил. «Три ха-ха в три ручья!» Вам хорошо быть всегда спокойной и выдержанной. А я не могу, я переживаю. Господи, половину чемоданов в Праге потеряла. Мы сперва в Дрезден приехали, потом в Прагу, а теперь в Кемптене. В лагере устроились хорошо, за мной один американец ухаживал, даже жениться хотел — подумайте, за консервные банки! Я ему отказала, конечно. А вдруг негром окажется? Поклонников, как всегда, хоть отбавляй, но на этот раз я влюбилась серьезно. Античный профиль! Вот бы вам нарисовать. Приезжайте к нам, я вас устрою в лагерь. Ну вот, теперь можно есть мороженое. Вкусно, правда? И подают хорошо. Люблю такие бокальчики. Ташенька, дорогая, вы все знаете и должны мне помочь. Я ведь приехала сюда по делам. Надо продать кое что. Да, я теперь торгую, как все. Выучилась, иногда только ругают страшно, если я перепутаю, но я не боюсь. А вот это кольцо хочу спустить или обменять: можно на два обручальных, или для меня чтонибудь красивое... Сперва я хотела переделать, но не стоит, тяжелое слишком...

— Откуда оно у вас?

— Да говорю же вам, у меня роман. На этот раз настоящий, ей-Богу. Снял с пальца и подарил. «Делай, говорит, что хочешь, мне его не надо. Была когда-то память — а теперь даже забыл, о чем». Сколько оно стоит, как вы думаете? Боюсь предшевить...

На белом мраморном столике матово поблескивали бокальчики. Перстень звякнул о мрамор и застыл. Тяжелый золотой обод, зеленоватый скарабей — символ вечного солнца. И глаза такого же цвета, и шелковая вода Изара. Целовала это кольцо на руке, чтобы сберечь ее ласку. «Была когда-то память, а теперь даже забыл, о чем». Перегорело значит. У многих сейчас эта болезненная пустота, слишком много пришлось пережить, старое выжжено и нет больше сил — ни для прежнего, ни для нового. «Цезарь» и «Перепелочка»...

— О чем задумались, Ташенька?

— Бывает иногда — простите. Вспоминаешь вдруг, как боялась налетов: не хотелось погибать. А теперь — жаль. Проще ведь это. И молиться не надо больше... и... А на кольцо у меня есть покупатель, я его возьму.

В меблированной комнате было тепло и уютно, но с отъездом Ташеньки она опустела. Остались книги, одинокие прогулки, случайные разговоры с неинтересными людьми. Сергей раскладывал пасьянсы, топил печку и подолгу просиживал у огня.

Почта не идет еще, а где теперь Ташенька — с кем? Может быть, нашла сестру, а может быть — и того. Или нового нашла? Нельзя было отпускать. Да что поделаешь — не убивать же? Больше не способен на это. Тогда в бешенстве, обезумел просто...

Если теперь она вернется, не спросит ни о чем, пусть сама рассказывает, что считает нужным, никакого гнета с его стороны не будет. Только бы была здесь, рядом. Пусть рисует, читает, просто молчит. Своя, родная мать, ребенок, жена — все вместе. Только бы вернулась...

Ташенька приехала глубокой осенью, когда особенно пасмурно в стареющем сердце. Она рассказывала три вечера подряд о путешествии, сестре, знакомых, политике... Показывала альбомы с зарисовками — какие лица, какие сцены, и какая жуть этих горьких декораций! Сергей не был художественным критиком, но ему оказалось, что художник схвативший все это, не задумчивая Ташенька, а кто-то совсем другой, разодравший себе грудь и издавающийся над собственной язвой. Эта искаженная боль жесткими и скупыми штрихами ранила бумагу, как игла вкалывалась в глаз.

Когда Ташенька, приведя все в порядок, легла и устало опустила руки вдоль одеяла, Сергей остался еще сидеть у печки. Сколько раз мечтал он об этом, потихоньку совсем: поднять глаза и увидеть на подушке головку Ташеньки. Ресницы опустила, тень под ними вздрагивает от свечи, и тень ли это, или новая черточка в лице? Как на ее гравюрах — ранищая острая игла вздрагивает в бровях. Может быть просто отблеск — свеча горит вместо лампадки перед Николаем-Чудотворцем... Пришла же ей фантазия — повесить свечу, как лампадку, и воткнуть в кольцо на цепочке. Напрасно он тогда обвинял ее, что отдала перстень — он, оказывается, все время в чемодане был, она его сама вынула теперь.

Свеча горит в перстне, живой огонь, и золото кажется живым, только в скарабее свет потухает сразу — потемнел скарабей.

Синие глаза Угодника смотрят проникновенно, спокойно и строго: кто начинает, а кто перестает молиться...

Святой Отче Николае — моли Бога — о всех!

СЕРЕНЬКИЕ ЗВЕЗДЫ

Помогали убирать елку. Все повесили: шары, колокольчики, шишиный народец, ангелов, мухоморов, блестящий дождь и туманные нити ангельской пряжи.

— Ну, а это не стоит, совсем уже серенькое...

И чуть было не бросили обратно в коробку с картонными гнездышками и обрывками бумаги пригоршню запутавшихся на проволочке маленьких серебряных звездочек.

Они просто вырезаны из картона и покрашены серебряным порошком: серебро облезлое, закапанное воском со... скольких уже? Да вот, ровно с тринадцати елок будет, если повесить на эту: большую, нарядную, в уютном и теплом доме с высокими, светлыми окнами, к которым жмутся ветки вьющихся роз из сада и стряхивают белые звездочки, прилипшие к стеклам. А эти такие серенькие, что красавице и не под стать вроде.

Только если встряхнуть их — то все тринадцать елок осыпятся вместе с пылью, и останется первая: в памяти осталась низенькой, несуразно широкой, и рядом с ней стояла обвязанная веревкой, в дорогу, тоже порядочная кривулька... Но если уж вешать на елку воспоминания, то надо по порядку, и время есть: никто не будет торопить усесться в сочельник за стол непременно «со звездой»...

* * *

...Если уж с самого начала, так это был жаркий, пыльный и бесконечный сентябрьский день. Лета не милости, а гнева Господнего сорок пятого года. Может быть, день и не был таким жарким, но я не ела четвертые сутки и все время мучительно хотелось пить, на путях же не всегда попадалась спасительная водокачка. Все пути перекрещивались блестящими, суживающимися рельсами, на просмоленных шпалах, над острым, режущим ноги щепнем. Подметок не хватило на трехнедельный путь из Брауншвейга в Мюнхен. Путь был разным: на угольных платформах, на бочках, крышах вагонов, и просто

пешком. Где-то, между Мюнхеном и Нюрнбергом, из всех вещей осталось только три: старый серебряный мундштук еще из дому, смешной кружевной платочек и национальный самодельный флажок. Мюнхен же был выбран еще на севере, потому что он был, вероятно, самым ближним центром по дороге к Италии, и можно узнать что-нибудь о своих: уже год, как...

Теперь я ничего не пыталась узнавать. Мне удалось подобрать окурки и я сидела под разбитой стеной и затягивалась кружащим голову дымом до звона в ушах. Рядом какая-то семья: мать с отцом, потрепанные чемоданы, двое детей. Такие же пыльные, серые, с заострившимися носами, как я, как все мы, на всех путях. Когда заговорили громче, то поняла, что по-русски: как снести вещи в лагерь?

Посмотрели на меня — с пустыми руками, попросили помочь: заодно прихватят и с собой, если мне некуда. А куда же?

— Но... в югославский лагерь? Я ни слова по-сербски.

— Да кто там разберет. Мы скажем — родственница, а вы держитесь за нами, и на все отвечайте «хвала». Как-нибудь...

Добрались, хвала им действительно. Получили дощатые нары — все же лучше, чем пол на вокзалах! — и два куска: хлеба и сыру. Каждому — по два куска!

... А дом — громадное здание на таком же громадном дворе — множество окон, коридоры, перегородки, — весь дом звенел и трясся от хлопающих дверей, криков: все время появлялись усатые физиономии, все искали своих, югославские эмигранты обнимались, хлопали друг друга по плечу... В какой-то комнате, куда меня потащили почему-то, молоденькая блондиночка в кудряшках дала мне кружку теплого, сладкого чая, и, не глядя, продолжала говорить, захлебываясь: «выдача в Лиенце»...

Я не закричала, но кто-то, из угла, глухо спросил меня:

— Кто у вас... там?

В комнате стало тихо, и я не сразу ответила:

— Все...

Заговорили наперебой, утешали, дали покурить. Потом я, все-таки, заснула на нарах, и мои «хозяева» на следующее утро поделились со мной сыром, честно пытались устроить меня без бумаг, но никакая «хвала» не помогла на этот раз, и снова: жара, пыль, камни, и — некуда.

* * *

... Но утешают не зря. Одного из своих я встретила через две недели на ступеньках «Дейчес Музеум» — проходного центра разноплеменных толп. Он избежал Лиенца, чуть не попал под расстрел в Праге. Иногда и это помогает.

Еще через год пришло письмо от второго, который накануне Лиенца попал в госпиталь. Правда, он погиб после письма, — но это уже другая история.

А в глухую осень сорок седьмого я получила телеграмму: «Мама, я в тюрьме в Берхтесгадене. Приезжай».

И тюрьма иногда — лучше...

... Но суд был скорым и немилостивым. Историю подсудимого я знала лучше судьи: казачье юнкерское училище было отправлено походным порядком из Италии в Австрию — в Лиенц, конечно. Отлучившихся в деревню нескольких юнкеров схватили итальянские партизаны. Сына заперли в сарай, и через три дня объявили радостную весть: утром за ним придет советский капитан. Ночью ему удалось разобрать крышу и уйти в лагерь — до следующей выдачи. Из четырнадцатого по счету лагеря решил пробраться в Германию, пешком, с пересадками — в итальянской, английской, австрийской тюрьме. Перейдя границу Германии, обрадовался, что путь свободен — и, выйдя из леса, наткнулся на пограничника.

Не знаю, кто был полувоенным судьей в комендатуре. Замок в Берхтесгадене стоит посреди города. Мраморные лестницы, ковры, замечательная пастельная копия «Блу-Бой» Генсборо под стеклом у двери в зал, паркет, высокие окна. И стража. Конечно, у всех оборванных подсудимых на плечах еще чувствовались погоны, и состав преступления был ясен: возвращались домой. Одного мальчика отпустили на поруки отцу, следующим был мой, и — не удалось. А он и не дерзил даже, надерзила я, когда услышала приговор. Может быть, если бы немецкий стражник не вытолкнул меня из зала, попала бы и я — выражение лица у судьи хорошим не было. А сыну дали три месяца.

* * *

... Утром, когда еще темно, градусов двадцать семь, двадцать восемь ниже нуля. В бараке замерзает вода в ведре. Что-бы умыться, берешь сперва топор, — рукой не пробить.

В вагонах выбиты стекла. Народу немного — в эту сторону почему-то не «мотаются» люди за картошкой, табаком, — да за чем не мотались тогда! Из Мюнхена в Гамбург за центнером лука... на буферах, зимой. Странновато теперь слушать, правда? А ведь тогда — в порядке вещей. В вагоне можно сидеть, но надо часто вставать и выбивать чечетку, иначе — хоть плачь.

Потом пересадка — и сразу другой поезд: тепло, есть даже мягкие сиденья, хотя часто приходится стоять в коридорах, и

ждать его целый час, на перроне, конечно, станция крохотная, всех не вмещает. Снег сверкает, мороз, ветер с гор. Они уже тут — рукой подать.

Поезд идет все время в гору. Кругом курорты и крестьянские домики в лесу. Как хочется думать, что здесь идет по-прежнему тихая, мирная жизнь, и все сыновья вернулись с войны, и такие немудреные, но мудрые заботы о коровах, лыжах, еще о чем-нибудь, простом и главном, и дом еще от дедов...

Вокзал в Берхтесгадене тоже сверкает — единственный не разбитый, который попался за все эти годы. Смотреть некогда: нужно бежать в замок, взять пропуск. Дорога сразу поднимается в гору, улицы со ступенями здесь, кривые, скользко. Идти нельзя, надо бежать, а сетки оттягивают руки: хлеб — тяжелая вещь. Если поезд опоздал на несколько минут, то не успеть, комендатуру закроют в два, прием в тюрьме до четырех только, а она далеко за городом. Скорей, скорей, мимо аркады смежных лавочек, башен, мимо «Блу Боя», по устланной ковром лестнице, успеть схватить бумажку, а они копаются, как нарочно, выписывая незнакомые имена. И тогда через весь город, снова в гору. Здесь все на горах. Они наклонились сверху, со всех сторон, от улиц идут лестницы к особнякам. Широкие ворота старинной почтовой станции Турн-и-Таксис, предпринимчивого княжеского рода, пустившего диккенсовские дилижансы с почтальонами, трубившими в рог, по всем городам Германии и Австрии. До сих пор эти картинки на стенах невысокой каменной стены, посмотреть бы их... нельзя, скорей надо. Жарко, воздух глотаешь, как лед.

Город кончается. Слева идет обрыв в долину, оттуда высовываются крыши, придавленные камнями от ветра, между верушками елей дома спускаются уступами. Дальше над долиной снова поднимаются горы, — и поют. Да, тонким серебряным звоном. Первый раз даже остановилась на воздушном мосту: до чего изумительно! Звук поднимается из долины, рассыпается серебром, и, сорвавшись с высокой ноты, падает вниз. Не голос, не инструмент. Неужели от мороза?... Долго думала, а немцы долго не могли меня понять. Потом смеялись: лесопилка в долине, пила врезается в дерево! Но мне она пела.

Вот крохотный домик сбоку, метра три в квадрате всего, со ставенками, как пряничный. А около него «Адлергоф» — современный строгий отель. Гитлер любил там бывать. Сейчас стоят американские автомобили и выходят лейтенанты, некоторые в юбках. Все равно не подвезут. А до тюрьмы еще далеко, и все в гору, в гору...

Тюрьма, как полагается, унылое кирпичное здание. Но в приемной комнате — она же канцелярия — тепло, и подомашнему: на передачу не смотрят, и можно посидеть подольше.

— На Рождество елку привезу, в самый сочельник приеду, здесь ее позволят зажечь, конечно.

Хуже всего — скука. Сколько уж книг могу я принести, и откуда их взять, и они еще тяжелее хлеба. Рассказываю, что делаю из еловых шишек гномиков: руки, ноги из обмотанной проволоки, борода из ваты, на колпачки удалось достать блестящей бумаги... в магазинах ничего нет, кустарные вещички нарасхват, особенно к праздникам.

— Дай мне их тоже делать. Только как все это принести, и как ты потащишь готовые? Ведь их осторожно надо...

Обещаю придумать что-нибудь, ломаю голову всю обратную дорогу. Сумки пусты теперь, но руки, как плети висят, устала. Сразу замечаешь, как скользко на обледеневшей дороге, и снова становится холодно. Хлеб с собой есть, а по карточкам все уже взято, конечно, да и закрыты все столовые. Они открываются только на несколько часов и все больше «суп из бычьих хвостов», дежурное блюдо еще со времени войны. Подвергать его химическому анализу не стоит: мутная коричневая жижица резкого и невообразимого вкуса. Хвосты! Нет, уж лучше без этого издевательства.

Как ни странно, но комнату удалось найти в первый же раз довольно быстро. Вернуться домой можно по-разному: или на вечерний поезд прямо, на который всегда опаздываешь, или на утренний.

Значит, отель. Бледная белобрысая немка берет предложенную сигарету (последнюю, остальные, конечно, все отданы) и позволяет взять из шкафа книги. Отель не отапливается уже года два. Иногда и пуховая немецкая перина может быть благом. Холодно так, что руки коченеют, держа книгу, и еле крутишь самокрутки из махорки — не дай Бог, упадет кусочек тлеющего корешка на пуховое великолепие. Вечер долгов, электрическая лампочка так слаба, что кажется, коптить сейчас начнет; есть хочется и повить в подушку тоже.

...Конечно, я придумала. В следующий раз привезла старые папки вместо картона, отвратительную кисточку, стоящую большие деньги, и бутылочку с разведенным серебряным порошком.

— Вот, вырезывай звездочки. Какие хочешь. Нож у тебя не отобрали...? Тоже порядки. Хотя, кто из вас удерет...

Вообще аккуратностью моей сын не отличался, но времени было слишком много: звездочки были не только вырезаны и покрашены, но даже уложены в ровные стопочки по сортам и

перевязаны проволокой. Вся камера, оказывается, принимала живейшее участие, за удовольствие покрасить курить давали.

Часть их я продала, часть раздала в виде благодарности, — потому что платили за них деньгами, а что можно было достать за деньги тогда?

А Рождество приближалось. Сходить с санками в лес за елкой недолго. Свечки я достала в церкви — там тоже взяла в обмен звездочки. Достала плитку шоколада, сделала хлопущки с бахромой на елку. Будет нарядной, но вот под нее то что? Булку из серой муки?

Вечером пришел с таинственным видом Петр Лаврентьич и вызвал меня, подмигивая, во двор. Двор начинался у железнодорожной насыпи и кончался там, где было уже нечто вроде улицы. Всего он занимал добрый гектар пустыря: обломки каких-то труб, щебень, воронки от бомб. У насыпи стояли рядом два моих барачка: летний, в котором поселилась, впервые попав сюда, и «зимний», подоткнутый сбоку. С другой стороны, почти у самой улицы, стоял длинный барачище, где жили остальные обитатели двора: Василь-Окаянная Голова, которого и «авто-коньяк» не брал, разбойного вида Петро, и кривоногий Петр Лаврентьич, заявивший вначале, что он не только капитан, но и летчик (впоследствии роды оружия менялись в зависимости от настроения и собеседника).

Все они держали свиней и кур и занимались делами разного порядка: Петро темноватыми тоже. Петр Лаврентьич с женой Лизаветой были самыми симпатичными. «Капитан» не смущался никакими обстоятельствами и враньем, время от времени проявляя научную любознательность:

— А почему у нас китовая икра такая дорогая, когда кит такая большая рыба?

Впрочем, он любил не только послушать, недоверчиво покачивая головой, но и поучить тоже:

— А летать просто. Вот, возьмешь компас. Это, знаете, такая круглая штучка...

Дела со мной он вел охотно, и часто в виде снисхождения делал широкий жест, что не мешало ему содрать шкуру.

— Вы только Петро не говорите... И Василь ничего знать не должен... Он, Окаянная Голова, как напьется, так кричит: «убью». Да не крал я у него свиньи, провалиться мне! Между нами, я уж и на вас полагаюсь... телка к вам привести хочу, завтра, когда стемнеет. Вы же в старом бараке не спите, а куры под столом не мешают. Во втором помещении свободно? Вот мы туда телка и поставим. На десять минут. Я сейчас же обернусь, зарежу его, освежую, вам за беспокойство охвостье и ливер пополам, ну и там всякое, не только что купите, а так,

понимаете, и Лизавета потом придет и пол вымоет, чтобы вам не возиться...

Сперва я поняла только одно волшебное слово: охвостье. Не один хвост, а с чем то! Притом — настоящий хвост! А из него — нет, не суп, а пирог с мясом, под елку.

— Только резать я не буду помогать. И не умею, и...

— Да разве я не понимаю, что вы. Значит вы уж постарайтесь, молчите. И мужу не говорите. Все равно он ничего не понимает. Я как приведу — вы заранее дверь только на крючок возьмите, поставлю, вам стукну, чтобы вы того... посмотрите, пока я обернусь...

Во всех делах с Петром Лаврентьевичем без подвоха не обойтись: почему, например, телка нельзя зарезать у него в сарае, раз все это так просто и быстро произойдет? Но тогда и мне охвостья не выдать. А не много купишь, на деньги-то. Я решила молчать.

Когда на следующий день вечером раздался стук в дверь, я сразу выбежала.

— Привели телка?

— Стоит. Вы только накиньте что-нибудь... мороз крепчает.

Мой первый барак, теперь «летний», был перегороден на две комнаты, одна за другой. В первой, на большой полке из неструганых досок, расположилась «мастерская» — теперь уже последние гномики и звездочки, а под столом самодельная электрическая печка обогревала петуха с двумя курами. Сейчас дверь во вторую комнату была плотно закрыта. Петр Лаврентьевич даже крючок на нее набросил, чтобы она не отходила, а сам уже смылся.

— Вы тут подождите, чтобы не было чего...

Телок, по моим понятиям, это телок. Пить он, наверное, бедный хочет. Сколько я их в усадьбе дома поила... Я сразу прошла к двери, сбросила крюк, и...

И навстречу мне сунулась рогатая морда быка, стоявшего по диагонали комнаты, упершись своим «охвостьем» в дальний угол. Ни вдоль, ни поперек комнаты он поместиться не мог.

Ахать было поздно. Бык мрачно смотрел, опустив голову. Да если он двинет — не дверь, а барак разнесет, дощатые-то стенки! Я машинально захлопнула дверь, накинула крючок и почему-то подперла ее плечом даже. А он уже постукивает рогами... пол трясется, во всяком случае. Десять минут, сказал Лаврентьевич... знаю я его! Позвать мужа? А что он, инвалид, с быком делает? Выругает меня только, что связалась, и поделом! А если бык сейчас выскочит? А если эмпинагрнет?

Но что эмпи, которая еще, может быть, только будет, а вот пол трясется уже сейчас, доски так и ходят. Ему и выскакивать не надо, только повернется боком — и стенки нет.

Десять минут Лаврентьича растянулись часа на три. Я потихоньку ушла, наконец, окончательно замерзнув, и только все время выскакивала посмотреть: стоит ли барак еще? Когда появился Лаврентьич с Лизаветой, согнувшиеся под всякими орудиями, мешками и ведрами, я погрозила им только издали кулаком, кинулась к себе, заперлась и решила, что мой малый барак, во всяком случае устоять должен, а там — будь, что будет. В тореадоры я не нанималась, в конце концов. Если для Лаврентьича это — телок, то пусть с ним и справляется сам. Кур бык растопчет, конечно. Но если я их сюда сейчас возьму, ни с того, ни с сего, то муж начнет спрашивать, — а ему только задним числом узнать надо, и то половину...

... Не посягаю на лавры Кузьмы Пруткова, но должна дать всем полезный совет: «Не режь быка в спальне». Туалета в этой «спальне», правда, не было, но от железной кровати остался блин, а соломенный тюфяк на ней... Впрочем, не жаль было выбросить. Делалось же в бараке такое, и не десять минут, а почти всю ночь, что бойней пропах весь наш пустырь, и почему не явилась эмпи — непонятно до сих пор.

Зато в Берхтесгаден пришлось взять с елкой дополнительные сумки. Две больших жестяных банки с хорошим, жирным пахтетом из ливера, и увесистый пакет жареных бифштексов. Всей камере, за звездочки.

* * *

... Да, вот за эти самые, совсем уже серенькие теперь. На той, первой елке они сверкали, поверьте. И на всех остальных тоже. Теперь им почетное место и на тринадцатой по счету. За эти тринадцать лет всякие сочельники бывали: и плохие, и хорошие. Так уж повелось, что на елку всегда воспоминания вешают, — да и сама она напоминать должна о той, самой первой, большой звезде над Вифлеемом.

... Что ж из того, что они такие серенькие. Золотых не пришлось дожидаться. Да и не у всех они бывают, а как кому. Вам — пожелаю: побольше бы, хоть позолоченных. И — кого-нибудь ждать.

Иногда и этого не приходится больше.

ВИДЯЩАЯ СОВА

Люблю рассказы вещей. В детстве — подслушивала у старины, мечтанья вырастали в догадки. В пути своей уже жизни на годы застревали мелочи. О какойнибудь любимой, вымечтанной, или с глубоким чемнибудь связанной вещи и говорить нечего: целые романы. Жаль только, что потеря их — целое горе, а теряются они в жизни часто.

Но есть и другие вещички, не отличающиеся красотой и романтическими воспоминаниями. Они каждодневны, их не замечаешь, и только вдруг вспомнишь — и обрадуешься. В том захлавленном углу, куда мы сметаем наше прошлое, лучше почаще сметать паутину.

Вот у меня в особой чести: пепельница из серого металлического сплава. Во время войны делали из такого самые простые пуговицы. Блюдечко с приподнятыми краями, а на краю — маленькая сова. Цвет грязный, без блеска, не чеканка, а кустарщина из старого лома. В первые послевоенные годы люди набрасывались и на такие поделки, и платили хорошие деньги: деньги все равно ничего не стоили, потому что ничего не было. Купила и я, я люблю сов, и для махорочных самокруток пепельница как раз хороша была, и все таки лучше пустой банки.

Я даже с гордостью поставила ее на единственный стол из неструганных досок в своем барачке: как-никак, украшение. Еще была занавеска из двух мешков с нашитыми на ней громадными мухоморами. Занавеска, кроме украшения, закрывала полку, на которой умещалась вся моя мастерская: деревянные тарелки и яйца. Я, конечно, тоже была кустарем.

Барак был не лагерьный, а построенный самосильно, вопреки всякой архитектуре и законам, на пожарище под железнодорожной насыпью, на пустыре, который превращался постепенно в огород. Все это вместе составляло такое фантастическое «поместье», которое только было возможно в послевоенные годы в Германии.

Жизнь была нереальным, никому непонятным и голодным существованием, следовательно богатой самыми неожиданными находками, по логике этой самой жизни. Находки бывали и трагическими, и забавными. Как миска, например.

Миска и теперь стоит в моем большом буфете, в доме, совсем не похожем на тот барачек. Фарфоровая, овальная, с ручками и бледным цветочным рисунком в коричневатых арабесках. Такой же арабеской идет по миске трещинка, но она держится. В начале этого столетия красовалась наверно в воскресном сервизе какого нибудь провинциального врача или мастера. Мне ее подарил Сашка-вор.

Сашка-вор впервые появился не в бараке, а еще до того, в самом начале, в знаменитом доме на Изманингер-штрассе в Мюнхене. Это был первый этап нашей жизни здесь. Дом имел какое то отношение к эс-эсовцам, и потому оказался пустым. Дом стоял в Богенхаузене — районе дорогих особняков в садах.

Чердачный этаж, предназначавшийся раньше для прислуги, был просто захвачен предприимчивыми ауслендерами — сменившими унтерменшей на карте снова разодранной Европы. Первыми старожилами была большая семья из Югославии, достопримечательностью которой была девочка, «девочка Ксан с косами», собственный осел, и петух: он кукарекал на перилах черной лестницы, по которой мы ходили. Парадный вход полиция предусмотрительно закрыла, и не без основания: на соседней улице такие же жильцы влезли через парадную дверь в холл с умопомрачительной резьбой, и в одной из гостиных штытые золотом и нежнейшими шелками китайские ширмы в перламутровых инструстациях бабочками отгораживали железную печку с трубой, выставленной прямо в витраж цветного стекла. Не знаю, как — кому, но мне эти ширмы жаловались на дым и жестянку с сапожной ваксой, которую они почему то очень не взлюбили. У резных грифов в холле был совсем запавший, скорбный взгляд на творившееся безобразии... Что же я могла сказать им в утешение? Что наше красное дерево, как показал опыт, горело не хуже дуба..?

Петух был предметом восхищения и зависти всех жильцов, относившихся к нему со смешанными чувствами: доцента Ленинградского университета и литературного критика; астронома; белогвардейского офицера; девочки Ксан; двух инженеров, одного сержанта гвардии, одной бабы, трех поэтов и меня. Еще смешаннее был состав незаконных жильцов, во много раз превосходивший постоянных обитателей: в нашей комнате, например, жило шесть, а ночевало сплошь и рядом человек по одиннадцать. Проходивших просто не считали. Приходили же люди десятками в день, по делу и без: разыскать, нет ли кого из

Праги? Купить-продать пачку сигарет, махорки, банку порошка («сырный-мыльный»), или плитку шоколада; прочесть последние стихи и подделать хоть какойнибудь документ.

На немецком языке существует старинное выражение: «свободен, как птица». Средневековые юристы объявляли таким образом человека вне закона, и его всякий мог убить безнаказанно. Вот мы и были такими «птицами», ибо, помимо беззакония, питались одними крохами, большей частью крадеными, так или иначе. Других способов жить не было. Такое уж было время — птичьё!

— А вы чем занимаетесь, молодой человек? — спросил однажды нового посетителя мой гость — седой, высокий и сухой, блестящий офицер в прошлом.

— А я — вор, — ответил тот просто.

— То-есть как? — заинтересовался старик незнакомой ему по наивности разнообразностью, и сделал движение глазом, поймать по привычке монокль, но монокль ему отдалило по дороге вагонной дверью.

— Занимаюсь. Лет с двенадцати начал, еще в Халдадуе... (Спешу оговориться: город, который он упомянул, назывался иначе. Но, поскольку Сашка-вор еще жив, кажется, и может быть не мне одной рассказывал трогательную историю, как впервые совершил кражу из городского архива, где были свалены старые хорошие библиотеки, и притом из любви к книгам, за которые хорошо платили, но сперва можно было прочесть самому — то, чтобы его не узнали по родному городу, пусть он и называется так).

Тепер Сашка-вор ходил в тузах. Удивить Мюнхен в те поры было нелегко. В этом знаменитом городе один грек умудрился «срезать» грузовик у самых ворот прославленного американского склада «Индиана». К сожалению, в грузовике оказались одни... носки, без которых обходились тогда многие. В лифте бывших казарм, а теперь дипилогического лагеря во время обыска эмпи каталась полдня вверх и вниз корова: даже эмпи, видевшие, как корову привели в лагерь, не могли додуматься, куда можно было запрятать животное! Но, чтобы проникнуть на ту же «Индиану» через канализационную сеть — до этого тоже еще никто не додумался. Кроме вот его: кряжистого, светлорусого паренька с лицом, за деревянной доской которого, казалось, даже тупой мысли не ворочается.

Подробности своих походов он конспиративно проглатывал, но рассказывал интересно, хотя медленно и скрипуче, только слегка оживляясь; всеобщее восхищение льстило. Слегка попахивавшие кирпичики американского армейского шоколада

зря на угощение не разбрасывал: недешево достаются. Вообще был прижимист, и на безденежную шпану смотрел свысока, жалуясь, что дела плохи каким то сразу бабьим голоском.

* * *

Вместо баллюстрады на Изманингерштрассе в моем барачке теперь были остатки бункера. В стенки проглядывало небо в щели, но все таки, свой дом. Неожиданно появившийся Сашка-вор деловито обошел все владения и покрутил головой. Гуси это, конечно, вещь, опять же бахча есть. А у него два фунта табаку по шестьсот марок; он тоже уехал из Мюнхена, потому что что-ж: надоело придумывать новое, а до старого докопались, накрывают. Теперь он в соседнем лагере, в лесу. Читает Библию. Слыхала ли я о такой книге?

Табак заинтересовал меня больше — свой еще не вырос настолько, чтобы можно было обрывать листья. Но в особенности заинтересовало дальнейшее предложение:

— Поедьте к Барсукам! Я вам какавы подарю, два фунта банку, а вы по немецки скажете, чего надо. И там возьмем смальцу. Почем идет?

Барсуки, очевидно, были крупные люди, раз Сашка обещал отвезти меня туда и обратно. С окрестными дельцами у меня связи не было, и понятно, что я ухватилась. Кроме того, дразнила обещанная «какава», — не воображение, а аппетит. Волчий.

Ехать было весело. Хороший летний день, зеленый лес, приличная на удивление телега. Лагерь, и притом немецкий, помещался в лесу между двумя станциями — подальше от каждой и возмущенных баварцев. Наши были в меньшинстве, остальные — немцы... и какие! Я даже шарахнулась от одного, под развешанное белье, в детский визг и разбросанные жестянки. Ну и ну!

— Вы не бойтесь, — утешал меня Сашка. — Меня знают. В случае двину стерву...

Он предпочитал почему то со мной изысканно вежливое обращение, но двинуть мог, действительно. По его просьбе мне пришлось выступить не только переводчицей, но и посредницей в довольно запутанном споре об алиментах, которые якобы надо платить ему, Сашке, за то, что эта, которая... такая, словом... дальше шли слова, которых я не решилась перевести начальнику лагеря — если только этот разбойник был в самом деле начальником.

— Уф! — сказала я наконец, когда Сашка, чрезвычайно довольный исходом дела, щедро отрезал кусок колбасы, вынутой из кармана. Угощение происходило в той же конторе начальника, которая была и пивной, хотя пили в ней только самогон.

— Чего ему домой ходить, когда он тут пьет, — резонно пояснил Сашка. — А если музыки слушать не хотите, пойдем теперь к Барсукам, они тут неподалеку, и теперь можно.

— В другом конце лагеря живут? — спросила я с надеждой, что там не будет слышно «музыки», но Сашка направился к лесу. Здесь однако, не было больше жилья. Сашка подходил иногда к одному, другому дереву, осматривал ствол, кивал и шел дальше. Я знала, что этот лес тянется до Вассербурга, километров на тридцать. Куда ж еще идти?

— А вот они, барсуки. Я их из нор повыгонял, чтобы самому не рыть. Возьмешь лопату, так заметят, что с ней в лес пошел, ворье народ... только ног не переломайте...

Под большой елью, в корнях, из под моха Сашка начал извлекать сокровища, завернутые в промасленные тряпки: разные банки, картонные коробки, фарфоровая супная миска со смальцем.

Торговались мы с ним долго, и он остался недоволен, хотя я же помогала ему тащить все по пням и буеракам. Дать «какаву» стало все таки жаль, но великодушно позволил оставить себе миску, задаром.

И вот это — ее история. А ее, и много других, и смешных и страшных, хорошо знает серенькая совка на тусклой грошовой пепельнице. Поэтому и стоит теперь на почетном месте письменного стола. На нее не мешает почаще взглядывать. Пусть она подслеповата немножко, но это — видящая сова.

ВСЛЕД ЗА ПУТЕМ ВОЛХВОВ...

С благодарностью Л. Брудерер.

Не знаю, известна ли она и за пределами германских стран — немецкая художница с таким же странным именем, как ее произведения — Суламифь Вюльфинг. Здесь у нее собственное художественное издательство: открытки с ее акварелей.

Открытку прислали читатели из Швейцарии. Каждый день кто-то стучится в дом. За месяц набирается сотня писем, — трогательные посылки, цветы от незнакомых людей. Кажется, вот стоит протянуть руку — и есть на кого опереться. Спасибо им!

В подарках много внимательной, сердечной догадки. Да, я тоже люблю эту северную Суламифь — ей бы Сольвейг зваться надо! — уже по первой встрече с открыткой — в Берлине под налетами: в каждодневной пыли, золе, развалинах смерти, увидела девушку с опущенными руками. Поразили бледные полутона, чуть подкрашенная прозрачность воды, легкие штрихи, струящиеся складки одеяния с мелькающей каймой — переплет древней норманской вязи. Потом видела у этих девушек крылья, но не надо и подчеркивать: достаточно белых, развивающихся волос, прозрачных, почти белых лиц и смотрящих в невидимое глаз. Образы, едва воплотившаяся мысль, призраки.

Как вот и на этой: «Рождественские качели». Качели на Рождество? Да, кусочек елки: сверху чуть намечены тускло зеленые ветки, в глубине вырезанная из бледного золота звезда, внизу горит прозрачная свечка с загнувшимся, как крыло, пламенем. А на полукружии елочных бус — хрупкая цепь голубоватых вычурных шариков — девочка, схватившись за них, покачивается слегка. Как всегда у Суламифи Вюльфинг: одеяние перехвачено тонким пояском, ножки закрывает кайма из вязи, лицо прозрачно, белые волосы летят, а глаза... большие, голубовато-серые, как капли воды, и — совершенно пустые.

Жуткие, мертвые глаза — по первому взгляду. Но одного взгляда мало. Надо вслушаться, как потрескивает пламя свеч-

ки, и наверное, чуть позванивают ломкие бусинки, на цепочке которых покачивается девочка. Чуть-чуть покачивается. Вглубь — к звезде. Вперед — ближе. Она не боится, что узорчатая кайма коснется свечи и вспыхнет, что развившийся локон зацепится за иголки. У нее нет крыльев, и она совсем не ангел — раззолоченный, хорошенький штамп. Она даже не улыбается — только смотрит, прямо перед собой, широко раскрыв светлые, пустые глаза, в которых может отразиться все. И этот огонек, и сотни других, и эта елка, и другая — все, что вы видите сами. Потому что у нее зеркальные глаза, зеркала — пусты, пока мы не увидим в них то, что хотим увидеть — или что входит в них помимо нашей воли, и этот зеркальный мир притягивает в невысказанную глубину, на край отраженья — по ту и по эту сторону.

Зеркала не сохраняют отражений, не задерживают памяти. Но мы не верим, и боимся, занавешиваем их, когда в доме умирает человек. Их нельзя разбивать, нельзя дарить — чтобы не случилось несчастья, чтобы не уничтожить в них то, чего на самом деле нет — памяти отражений, — жизни.

Из всех человеческих изобретений зеркало — больше всего алмаз, ставший блестящей пустышкой для глупого ребенка. А зеркала нужны для философов и поэтов, художников и, пожалуй, очень больных, отошедших от жизни, людей. Или очень счастливых — чтобы запечатлеть это счастье на миг — все с тем же суеверным страхом и надеждой — удержать. Недаром французские короли множили свой блеск в зеркальных залах. Недаром зеркала часто дают неожиданный ответ — и не только в сказках. Впрочем, венецианские беспощадны и к красавицам.

Но нам некогда задумываться над зеркалом, как и над многим другим. Как надета шляпа, подвязан галстук, подрисованы губы? И только. Для чего ж еще? Отражение, грани... это уж там — четвертое измерение! А нам и с тремя справляться трудно — легче жить в одном.

Очень трудно передать словами мягкий шелест ветки, шелест огня, позванивание бусинок, за которые схватилась, покачиваясь чуть-чуть бледная девочка с пустыми — с зеркальными глазами. Свечи догорят, и елка будет убрана, когда пройдут святки: шары, ангелы, звезды, шишиный народец и веселые мухоморы — вся мишура, все уложится в большую коробку на целый год, до следующей встречи на другое Рождество, которое — каким будет? Иногда этого вопроса нет, потому что есть уверенность, а она не задает вопросов. Зато ускользает. Спрашивать — это дело надежды, та уж остается неизменно — до конца.

Спрячется и открытка — но так, чтобы ее можно было иногда вынимать и думать — как перечитывать сказки. Нет, школьным анализом не поможешь. Влияние прерафаэлитов? У Данте Габриеле Россетти тоже сказочная парча, застывшая призрачность бледных лиц — вычурный, но замечательный английский художник с итальянским именем. А эти арабески развившихся локонов — в начале столетия на обложках и виньетках, с легкой руки графиков, и таких, как Добужинский даже! — в штриховой затейливости перешли в манерность, сперва нарочитую, потом ступенью ниже — в общее достоиние... нет, старомодность непричем. Если рисунок можно узнать сразу — значит, художник создал свой мир, у него есть свое лицо, он просто, значит, художник. Не подумала же я сперва о Данте Россетти, а сразу сказала: Суламифь! Видела всего несколько рисунков — но отличу.

«Красивая картинка» — для некоторых, ущемленных уродством и снобирующих мецан? Груды дутого жемчуга на магазинных прилавках — дешевка, конечно, но настоящий всегда отяжелит взвешивающую руку — это живая драгоценность.

* * *

Гарь затягивала тогда все вокруг в черно-серый цвет, воздух был горьким и жег глаза, на губах был привкус пыльной, свистящей смерти. Жизнь в городе, на который ежедневно налетают тысячи бомбовозов, в котором каждый день рушатся сотни, тысячи домов и сгорают, задыхаются, раздавливаются люди — этой жизни между развалинами и погребями остается очень мало места, и в ней место только для самых простых и главных вещей. Думать тоже приходится только о главном, но это не обязательно примитив. Штукатурка осыпалась, вещи теряют свою цену, будущего нет, прошлое ненужно. Но хладнокровие во время налета, улыбка для оставшихся — еще в живых, выхваченный из огня, из под камней чужой человек, протянутая рука с хлебом или елочной веткой на Рождество, — это больше, чем обычная жизнь. Обнаженные люди, которых познаешь с двух слов, или совсем без них. Разные, конечно. Кто — гадливая мелочь, не человек, а дробь его, а кто — человек. Под налетами смерти человеческая дробь крошится еще более, зато единицы твердо стоят и держат других. И их было много, — больше, чем мы думали раньше.

Помню солнечный августовский день. Пришла знакомая, и мы пили то, что называлось кофе, когда в радио выщелкнули

программу и включилась — незабываемая! — гамма налетного радиотелефона: «Там-там-там-там... вражеские эскадрильи».

Молоточки отстукивают монотонно и жестоко. Через несколько минут взвояет сирена. Еще несколько минут — и над головою повиснет скрежещущий, воющий, перемальвающий воздух гул. Иногда телефон опаздывает, и сирена гудит бесполезно, когда они уже здесь, над головой, летят, падают...

Руки не дрожат от привычных движений: накинуть пальто, взять стоящий наготове легкий чемоданчик — самое важное, все остальное ни к чему. Уже чувствуется отвратительный запах извести в погребе...

— Бежим в бункер у Цоо! Не хочу в ваш погреб!

Бункер не так уж близко. Минут пятнадцать ходу — а если не успеем? Около него всегда громадная толпа, вход только один, узкий, выбираться очень долго потом... А может быть именно сегодня надо уйти из дома? Он крайний из трех, еще оставшихся на улице... и рассуждать некогда. Пусть, если ей хочется...

Улица пуста, это западная часть города, она давно разбита вдребезги. А сирена опоздала. Вот завывала, когда мы подходим к торчащему обломку колокольни Гедехтнискирхе — и гул уже над головой, недалеко ухает бомба. А до бункера еще минут пять, и если бегом! Скорее, скорее, она тащит меня за руку, но я не могу больше, ноги подкашиваются, и вырываюсь — бегите сами!

Около Гедехтнискирхе выворачивается фигура. Солдат, видно с фронта, обтрепанная форма, безразличный, слоняющийся вид. Смотрит на нас усталыми голубыми глазами на пыльном лице и усмехается:

— Чего вы несетесь? Из-за чуточки жизни?

Это не ирония. Бомба ухает на Курфюрстендамм, черный столб разбрызгивает камни, черепки царапают мостовую у наших ног, асфальт напрягается и дрожит. Но становится стыдно перед этим безразличием — перед тем, что он выдержал, пока дошел до такого. Останавливаюсь на секунду и перехожу на такой же тяжелый шаг. Впрочем, он не идет в бункер, а просто прислоняется к первым воротам и рассматривает небо. Бомбы догоняют — неприятно ежится спина. Когда подхожу к бункеру и представляю эти лестницы, коридоры, сбившуюся толпу, резкую команду — мелькает даже мысль — стоит ли входить? Но у входа не церемонятся — живо, не задерживаться!

«Из-за чуточки жизни»... слова запомнились. Бледная девушка с потусторонним взглядом Суламифи Вюльфдинг в такой жизни запоминается тоже, и это красота алмазных блесков, а

не дешежка стекляшек. Тогда особенно понимаешь, как пронзает и осмысливает даже «чутьочку жизни» красота, в чем бы она ни проявилась. Теперь, много лет спустя, «разгневанные молодые люди» поклоняются модному идолу циничного уродства, безверия и безысходности. Удивительно, что при этом они дико завидуют каждому, у кого хоть немного больше, пусть даже ненужного им, — и от этого сами становятся ненужными — прежде всего себе самим. Их жалеть очень трудно, но надо — как людей, не сознающих своей нищеты. А ведь человек богат всегда, если он может что-нибудь кому-нибудь дать! Конечно, и с них облетела бы тогда шелуха — но не должен же ужас быть единственной панацеей!

* * *

Или вот «три встречи с картошкой»: Весной погреб дома стали подпирают столбами, расширять. До того жались во время налетов в узких коридорах или своих сарайчиках-клетушках. В моей было мутное окно на улицу. У стены стояла широкая полка — подставка для ящиков с углем и картошкой. Случайно как-то взглянула на нее — и стало жутко: что-то живое, бледное, переплеталось, кольхалось, вытягивалось из ящика, как щупальцы: червяки, пауки, змеи? Абстрактный ужас. Сразу не поняла, а потом такая горячая жалость, до слез: это бедные картофелины в ящике выпустили свои побеги — пришла им пора расти и жить, таким слабеньким, обреченным и упорным, несмотря ни на что... и такая человеческая беспомощность в них, немой упрек: за что, почему не дают привычной, нужной земли, уродуют, калечат?

Но не только жалость, а и чувство стыда — будто подсмотрено недозволенное. У каждого живого существа есть право на то, что принадлежит только ему одному: рождение, смерть, любовь. Пусть рождение и смерть часто происходит при свидетелях — но нужных, заинтересованных. Это не глазеющая толпа. Как на снимке в журнале: уличное восстание, расправа с палачами — и посреди взметнувшаяся фигура с запрокинутым лицом, оскаленными зубами, как будто схватившими пулю провалившимся ртом, и глаза — в последний момент обрывающейся жизни. Фотограф, наверно, рисковал своей головой ради снимка, и вышло на редкость удачно, — коллеги завидовали, кассир платил по особому чеку. И это была смерть палача. Но — такого нельзя снимать ради сенсации, на такое нельзя смотреть жадными глазами, это та же патология в духовном, как эксгибиционизм в половом. И в этих белых, извивающихся

червяках с чуть наметившимися перышками листьев и щупальцами — отростками корней — тоже стыдная обнаженность, неприкрытая оберегающей интимность земель, из которой поднимается к свету, для всех, только то, что можно видеть.

Зародыш в комке жизни пусть объясняют химики по своему. Мне это напомнило — людей. А когда летом на высоких холмах ломаных кирпичей, щебнистой земли, ржавого гнущего железа — того, что сдвинуто в сторону с мостовой, что осталось от домов, и тех, кто в них жил — видишь вдруг над торчащей обгорелой балкой весело мигающие белые звездочки в зеленых листьях — это такая простая, утешающая жизнь бурой картофелины, пробившейся таки из под обломков, из раздавленной корзинки или помойной шелухи — что хочется сказать ей спасибо. Да, она вряд ли пригодится комунибудь, и вообще не вырастут порядочные клубни на обрушившихся стенах — но она пробивается, исполняет свое назначение, делает свое, пусть маленькое, но хорошее дело. Если бы мы все могли сказать о себе то же...

Когда после долгого перерыва починили газопровод, в доме ничего не было, кроме картошки и маленького кусочка копченого сала, — а пришли гости. Все время собирались по насильшке откуда то, изголодавшиеся, конечно — больше всего по теплу.

Насыпала в духовку картошку — пусть хоть чтонибудь! И что же: половина пришедших никогда не ела печеной картошки! Напоминание о кострах не помогло: городские... Особенно радовался молодой пастор. Его взяли солдатом, один раз засыпало на четырнадцать дней, потом разбился с самолетом... Разговор с умиравшим дважды был особенно интересен, и картошка помогла еще больше: удивление перед такой неожиданной возможностью — кто же делает так, и откуда, и какие люди в этом другом мире? Так связываются ниточки. Расспрашивал, смеялся, радовался маленьким, пахнущим все таки дымом, подпекшимся комочком, согрелся ими — может быть, помнит и до сих пор.

Мысли тоже растекаются во время налета, как эти отростки из ящичка. Значит, не очень страшно еще, хотя все время комок в горле, чувство мерзкой, затяжной тошноты. Обычно летят тремя волнами, а если кладут ковер из бомб, то уже никаким мыслям не остается места: кто может, молится. А кто не может? Что он делает с этой всасывающей пустотой, из которой выкачано все дыхание? Всякая пустота задает вопрос и требует ответа — как вот и эта, в расширенно-крутых глазах бледный тоненькой девочки на елке... Она не улыбается даже — у детского рта очень плотно сомкнутые, строгие губы. На

длинных рукавах платья кованое кружево золотых наплечников — как и у той девушки, на берлинской открытке. Мишура елочных игрушек? Кто уж обратит внимание на завитушки кружев — да еще в смертном городе? Но вот представьте — рассматриваются. Каждый завиток мастерской работы, для которой нужны были дни или годы провести за золотом, кистью, веретеном. И одной фантазии мало. Сколько затаенного — мечты, мыслей: может быть, целая жизнь вкладывалась в такие работы, и вот они живут, притягивают своей живой насыщенностью. Конечно, когда все гибнет, теряется и цена, стоимость вещи, но подлинная ее ценность может быть только тогда и захватывает по настоящему — красотой, ощущение которой и отличает человека от животного. Впрочем, смешно искать «недостающее звено» между человеком и обезьяной, когда им давно уже являются — многие люди. Разве мы не думаем вверх ногами, и умеем собирать свои мысли?

* * *

Очень трудно говорить от себя лично — другим. Автобиографии, по-моему, всегда лучше уложить в одну-две странички, или еще короче. Мемуары интересны и оправданы у замечательных чемнибудь личностей, или о них. Кусочек собственной жизни или мечты в рассказе — это должен быть только камешек в мозаике. А вот приходится брать свои камешки: открытки Суламифи Вюльфинг я держала в руках, и в «чуточке жизни», и сейчас, перед этой елкой, на которой качается девочка с зеркальными — с пустыми глазами. Пустота — всегда вопрос, она надвигается, и может стать жуткой, если на него не ответить. Вот я и отвечаю. Может быть, вверх ногами, но пока догорает свечка — мозаичная картинка будет готова — и может быть, наведет вас на мысль — а в этом все оправдание.

Встреча под налетами... Давно уже моросила над развалинами осень, прогорклой темнотой ложилась с самого утра. Там, где еще жили люди, окна домов глухо чернели: забиты картоном, если без стекол, затянуты темной бумагой, где они еще были. Небо смотрелось только в выгоревшие окна развалин, а теплое, такого желанного осенью огонька не было вообще нигде: ночью жуткая бледность от тусклых, редких синих фонарей — мертвые огни в темноте, настолько плотной, что когда взметываются пожары, она тоже клубится, густо, как дым.

Темный лес тоже волнует своей таинственностью; среди полей ночная темь напоминает одинокому о его заброшенности и

беспомощности — кажется, никогда не дойти до дому. Но самая страшная ночь под открытым небом не давит так, как жуткая темнота города, замерших домов, притаившихся улиц, ощущаемого всей кожей, каждым камнем желания забиться под землю, на которую вот-вот обрушится небо...

Поэтому уже сумерки гонят домой, под крышу. Она не спасает, но под ней, в коморке сжавшихся стен все таки хоть электрический свет. И если до этого дома, на другом конце города еще столько станций подземной дороги, трамваев, пересадок окольным путем между разбитых улиц, разбитых тротуаров, перекареженных мостовых с жалобным скрежетом бьющегося в развалинах железа... тоскливо.

Теперь уже никак не вспомнить, почему я пришла к этим старым дамам — двум сестрам, жившим в большой, на весь этаж, барской квартире. Ковры вытерлись, штукатурка облупилась, цветные изразцы потрескались. Здесь так долго, упорно и скучно наводился немецкий порядок, что от одного этого все протерлось до дыр и пахло нафталином. В таких квартирах живут лет по сорок — семья какогонибудь советника, полковника, солидного небогатого коммерсанта. Монокли и сигары у мужчин, а женщины пышно взбивали волосы, связывая их посередине узлом, очень прямо держали голову и без воротников на косточках. Горничная, сперва обмахивавшая метелочкой резьбу и перемигивавшаяся осторожно со старым господином или хлыстоватым сыном, потом надела длинный до полу передник с крахмальными оборками от плеч к талии, и стала прислугой за все, ухаживая за мебелью, которую портили жильцы (пришлось сдавать комнаты — такой ужас!), и последними оставшимися барышнями — или вдовами. Потом она уехала к сестре в деревню, или улеглась на кладбище, и барышням пришлось самим ухаживать за оставшейся пустотой, поблескивавшей одними воспоминаниями.

Ни фамилии их не помню, ни лиц. Наверно, такие же блеклые, как поседевшие волосы, старый шерстяной платок на выпевшем платье. Не припомнить, как сон, ни разговора, ни слов, после которых одна поднялась и повела из столовой с резным буфетом и фазанами на панно в гостиную. У сестер были такие же шелестящие голоса, как и движения, литературные, для военного времени слишком изысканные обороты речи, но очень приветливая улыбка. Им наверно хотелось поговорить со свежим человеком. В гостиной большой камин из зеленоватого мрамора был закрыт еловыми ветками, нависшими над очагом. Рождественская декорация — несколько шишек, колокольчики, вата с серебром. А в самом очаге стояла на возвышении резная хижина из потемневшего дерева, в

глубине блеснул фонарик звезды — и шли, припадали на колени, склонялись, заглядывали фигуры: Святая Дева с Младенцем, Иосиф, ангелы, пастухи, овцы с волами, длинноухий осел, и торжественные волхвы в пышных одеяниях, с бородами и коронами, шествовавшие, со всей свитой. Сотни две, наверно фигурок: выражение, жест, завиток рисунка на ткани, складки — все вырезано до тонкости, раскраска насыщена теплыми, густыми тонами старинных картин. Но эта картина, казалось, движется, и сияет звезда, и идут волхвы...

— В нашей семье эти ясли лет уже двести, наверно. Вот если мы... доживем до Сочельника, зажгу свечу, и тогда все озарится светом, и они будут, как живые... Вы помните, что о них сказано в Евангелии?

— Не совсем дословно...

— Можно и дословно.

Потертая книга в кожаном переплете раскрывается сама на нужной странице.

«Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с Востока, и говорят: Где родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему. Услышав это, Ирод царь встревожился... тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал: ...и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться Ему. Они, выслушавши царя, пошли. И се, звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними... и вошедши в дом, увидели... и падши поклонились Ему; и открывши сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну. И получивши во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою».

Сказано у Матфея, — и это все. Из какой страны пришли эти три волхва, обладавшие воистину сияющей мудростью сердца — ведь они поняли, почему загорелась звезда, они знали! — облеченные властью — они были правителями, королями своей страны, — обладавшие богатством — золото, ладан, елей! — и куда ушли, и зачем? Много ли правителей обладало такой мудростью? Почему ничего другого не было слышно о них, ни до, ни после? Предание изображает их стариком, зрелым мужем и юношей, часто с белой, желтой и черной кожей. Их называли впоследствии: Каспар, Мельхиор, Балтазар — но эти имена нигде не упоминаются. По тому же преданию они изображаются на бесчисленных картинах только в этот, высший момент — поклонения волхвов. Иногда еще рисуется, как идет по пустыне, под темно синим небом, освещенном звездой, роскошный караван, и покачиваются верблюды, и мягко ступают мулы под раззолоченными чепраками. Но куда

они скрылись — неизвестно. Конечно, рождение Христа заслоняет все. Но люди? Царь Ирод был встревожен предсказанием о рождении Того, Кого он считал соперником своей власти. Пастухам объяснили происшедшее ангелы. А из всех живущих людей только эти трое, прочитав открывшееся им во звездах отправились в дальний путь, чтобы найти, поклониться и принести в дар самое драгоценное, что они могли найти на земле: золото, жемчуг и самоцветные камни, священный елей для помазания Божия, фимиам для воскурения жертвы: Разве это не ставит их на особое место, на особый путь? Никто не знает — откуда пришли, куда ушли, только одно известно — зачем приходили.

Но в прежние века твердо верили, что Агасфер, не давший Христу отдохнуть на Его крестном пути, должен без отдыха скитаться по земле, и люди уверяли, что видели то тут, то там этого вечного странника. А ведь Агасфер — легендарная фигура, ни один евангелист не свидетельствует о нем. Хорошо, пусть он был, и понес за свое жестокосердие заслуженную кару — но разве Христос только карал? Разве волхвы, — знавшие, узнавшие и поклонившиеся первыми — могли пропасть без следа? Нет, их путь благословен, и это благословение они должны были пронести — через все века.

Коленопреклоненная фигура первого, седобородого волхва перед вертепом протягивала золотой ларец, из которого свешивались кованые ожерелья, жемчужные нити, золотые диадемы и скипетры. Второй волхв, не спешившийся еще, высоко поднимал над головой руки с сосудом драгоценного еля; перед третьим, подъезжавшим на коне, шел отрок с резной кадильницей, и от его благоговейно-сосредоточенного лица казалось, что из нее действительно вьется синеватый ладанный дымок...

— Знаете, вот мы с сестрой занялись этим вопросом. Конечно, богословского образования у нас нет, но... для себя. Спрашивали, старались прочесть, узнать. Ни в исторических, ни в богословских книгах — ничего. Мы живем одиноко, родственников почти больше нет, знакомых с каждым годом меньше... есть время, чтобы думать. Особенно перед Рождеством, знаете, когда такой сумеречный зимний туман: не видно, но кажется, что в нем, совсем недалеко, идет кто-то. И еще: откуда этот обычай — дарить на Рождество? Хотя бы детям, но и взрослым тоже. Ведь есть же другие праздники, с которыми поздравляют тоже. Правда, день рождения всегда сопровождается дарами — судьбы, или доброй феи в сказках, новорожденного одаривают близкие. Но разве мы могли бы сами додуматься — чтобы в память этого? Как часто встречаешь людей, которые так презрительно относятся к рождественским поздрав-

лениям, хлопотам, подаркам в особенности. И это больше всего похоже на... людей. Какое нибудь явление искажается нами самими до неузнаваемости, и мы же недовольны, возмущены. А ведь почти всегда выходит, что виноваты сами... Говорят: ах, эта рождественская ярмарка! Надоело, нудно, ненужная трата денег и времени! Назойливая реклама, шум, суета, скучная обязанность писать поздравления, на которых зарабатывают магазины и почта... все сбиваются с ног, целая промышленность производит всякую мишуру... Конечно, сейчас война, но вы посмотрели бы, что здесь творилось в мирное время! Недаром говорят, что Германия — страна Рождества. Впрочем, то же и в Англии, а в Америке, писала мне раньше кузина, еще хуже... и всегда в каком нибудь рождественском номере прочтешь воспоминание, что вот когда мать сама пекла незатейливые пряники, а отец готовил игрушки потихоньку, и дети, свои подарки прячась, тоже — то уже самая простая вещь казалась такой большой радостью! Или может быть — именно поэтому? Может быть, если человек вздыхает от кучи поздравительных открыток и беготни с покупателями, — то когда он разворачивает принесенный ему подарок, тот тоже не доставляет никакой радости, потому что он знает, что покупалось наспех, только чтобы отделаться, без сердца... бывало у вас так?

— Бывало.

— Может быть вам это покажется странным. Вот две старых женщины, одинокие, ненужные никому, живут кое-как, да и что значит сегодня: жить? Мы никуда не можем уехать из Берлина, связаны работой, квартирой... да, теперь побоялись даже наши руки тоже, хотя это все равно бессмысленно... и налеты каждый день. Мы еще только присутствуем в жизни, и если сегодня что нибудь случится, о нас не вспомнит никто. Знаете, на многих деревьях, особенно у дуба — целую зиму еще треплются листья. Они давно больше не нужны, ни дереву, ни себе, и ветер рвет их, но они держатся — зачем то. Вот сейчас идет только еще третий адвент, но мы поставили ясли заранее, потому что неизвестно, когда и что... можно вспомнить прежние праздники, приготовиться к ним — да, мы готовимся. Собираем разные вещи, у себя и других, теперь у всех так мало, все может пригодиться. Теперь дети снова благодарны за самодельные куклы, и для взрослых можно связать что нибудь из старой шерсти... А когда осенью наш старый поставщик — еще дед покупал у него, и его разбомбило наполовину — предложил нам обычной цене, представьте! — мешок миндаля, еще запасы мирного времени, то я сказала сестре: нет, нам это только на десерт, по праздникам, а мы вот сошьем маленькие мешочки из обрезков шелка, и в каждый

горсточку миндаля, для подарков... миндаль такой сладкий и питательный! Вот и для вас, я вижу, она тоже уже приготовила... Мы вас совсем не знаем, но пожалуйста, возьмите, нам всегда кажется, что мы еще богатые, если можно сделать для когонибудь хоть что-то... Если вы доживете до мирного времени, настоящей жизни, и она снова станет перед Рождеством шумной пестрой ярмаркой — вспомните, пожалуйста, что в этом мы сами виноваты, мы исказили, а Рождество такое же тихое и чистое, как снег, пока его не затоптали в грязь, и должно быть таким, потому что... потому что в этом сумеречном, холодном тумане, если вслушаться — можно услышать шаги... волхвов, то-есть я хочу сказать, что это вечное напоминание нам о принесении даров, потому что в этом мудрость, и если мы сами не можем понять, проникнуться настоящей глубиной, а просто почувствуем, то вот эта милость, благословение, которое на них, падает как будто бы и на нас — вы не находите?

* * *

Нужно сказать: это было давно, и в смертном городе, в сумеречном вечере измученного дня. От застывшей мебели в полутемной гостиной знобило и в мягком кресле. Что вспоминается сейчас: слова шелестящих голосов, или собственные мысли переплетаются с ними — тогда у них, и по дороге потом — не знаю.

Но: зеленоватый камин в елочных ветках, в очаге старинные «ясли» с поклонением волхвов, и мешочек выцветшего голубого шелка с сухими рыжими миндалинами — это было.

А больше и ничего, потому что потом их дом кажется, разбомбило вскоре. В живых этих сестер во всяком случае, нет, в памяти не осталось и имени.

* * *

Послушай, белая девочка с пустыми глазами на бусинных елочных качелях! Я ведь хотела тебе совсем другое сказать. Но как и у всех мысли разбрасываются, соскальзывают, их трудно собрать в стройный рисунок, и еще труднее — не соскальзывать на легкие пути. А осудить, отрицать и разрушать это самый легкий путь, и ведет он только к пустоте — такой же, как в твоих зеркальных глазах, на которую я обещала найти ответ.

Однако, как бы я ни ошибалась в жизни — этот ответ у меня есть, и мне не стыдно, что он прост, как дважды два четыре. Может быть, таблица умножения и устарела для электронных машин, но скольким из нас уж приходится иметь с ней дело, а вот таблица умножения может пригодиться каждый день. И каждый день, в который мы приносим радость другим — дарует милость.

Свечка уже совсем догорает — и на твоей, и на моей елке, но я хочу, чтобы ты увидела — да, тоже только открытку, которую мне прислали. На ней темное синее-синее небо, и по пустынному песку идут... они, конечно — а на обороте написано:

«Конечно, не дети — ни я, и ни вы, — и Дед-Мороз не для нас. Но где то проходят седые волхвы в этот особый час. О мудрости их бежала молва: Каспар, Мельхиор, Балтазар вести чудесной услышав слова, свой понесли дар. Пришли, поклонились, дары принесли, и снова ушли — в туман. Никто не знает: какой земли? Каких неведомых стран?»

Века проходят своей чередой, но так же, из года в год — идут и они под тою звездой, которая их ведет. Затем, чтобы помнили я и вы — что радость дана нам в дар. Его и сегодня несут волхвы — Каспар, Мельхиор, Балтазар. Затем, чтоб звездою рассеять мрак, и, пусть этот путь не нов!

*— Но чтобы и мы могли сделать шаг — вслед за путем волхвов...
Вот и весь ответ.*

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
Счастливое зеркало	8
Эпизод	48
Девушке прошедшей	72
Одна остановка	82
Лагерная Богоматерь	88
Ее золотая мама	109
Подарок антиквара	115
Затейный выдумщик	135
Деревянная елка	142
Письмо поэта	151
Кольцо Николая Угодника	170
Серенькие звезды	171
Видящая сова	179
Вслед за путем волхвов	184

КНИГИ ТОГО ЖЕ АВТОРА:

- «Тень синего марта», рассказы, 1938, Рига (распр.)
- «Дама треф», рассказы, 1946, Мюнхен (распр.)
- «Королевство алых башен», рождественские сказки, Мюнхен, 1947 (распр.)
- «Бессмертный лебедь» (Анна Павлова), Нью Йорк, 1956.
Цена 6 долл.
- «Разговор молча», стихи, Мюнхен, 1956, ц. 1 долл. (распр.)
- «Копилка времени», рассказы, Мюнхен, 1958, (распр.)
- «После . . .» фантастический роман, Мюнхен, 1961, цена 2 долл.
- «Корабли Старого Города», роман, 500 стр. в твердом переплете, Мюнхен, 1963, цена 6 долл.
- «Горшочек нежности», рождественская сказка, заменяющая поздравительную открытку, с русским и английским текстом, цветные иллюстрации, цена 0.50 ц., 1964, Мюнхен

В переводе на немецкий язык:

«Die Stadt der verlorenen Schiffe»

(«Корабли Старого Города», роман, Гейдельберг, 1951, распр.)

В переводе на испанский язык: (тот же роман):

«La ciudad de los barkos perdidos», Luis de Caralt, Barcelona

